

Роса

Иногда я смотрю на красные стены: точнее, на высохшие остатки красной краски, положившейся в коридоре первого этажа; краска эта колючими лезвиями вырывается из-под зелёного покрытия: я, кажется, знаю, что покрытие это также есть краска, однако факт этот не согласуется со мной в полной степени: фактурные отличия, едва заметные, вытягивающиеся мокрыми липкими кольцами поры просачивались сквозь меня, и совершенно обычная вещь уже не казалась таковой: эта стена, верх её казался несовершенным и недолжным: думается, всё это не должно было существовать или оставаться, да... тяжело было даже заметить то, однако я словно знал обо всём с самого начала: под краской этой жирной плесенью тухнет жёлтая стена: опять же, то также являлось краской, и краской совершенно обычной, даже, видимо, довольно качественной, ибо за столькие годы всё выдавало в себе непрочную изменчивость исключительно из-за странных решений по поводу полного перекрашивания всей комнаты. Эта жёлтая стена была мне сильно приятнее уже пробивающего красные пятна зелёного покрытия. В уголках этой стены: точнее, единственной, будто столь монструозной то ли привлечением моего внимания, то ли действительною особливостью собственного оформления, что иного я не видел и не знал: всё часто смешивалось бредом, да он: не было в нём противоречия, оформленного простым немецким языком, в нём были только... в нём была скорее пустота: не звенящая насыщенность явлений, но явственное отсутствие: всё не могло быть так пусто и глухо: не может это эхо быть голосом или сменой голоса: то только облака, еле остававшийся осевшими плёнками влаги туман. Воздух высасывал облака, и так же дом этот высасывал из меня самостоятельность воли. Я знал это, но знание это не было столь сильным или... может, сам я не был доволен какому-либо решению: дом не представлял мне хорошего или должного, однако с положением этим я ничего не делал, не зная о нём, но попросту позабыв: позабыв, что бывает и есть иначе; вероятно, про это иное я и не знал. Скотовод Каин забил Авеля как животное, за что того пометили: подобно животному, уже начавшему пожирать, подобно человеку, друга.

В чём было значение фаворского света для человека? Имел ли он толк различения для человека до и после, говорить, думается, не стоит, да отличен ли теперь сам человек? или же только стирание исторической справедливости задаёт новые условия для спасения: точнее, несколько меняет форму испытания, и всё же то... то не меняется само по себе довольно, оно даже становится тяжелее, поскольку принцип метаисторической справедливости продлевает путь души к Царствию Небесному: отныне более душ людских будет в аду и отныне более зла на земле будет свершаться, ибо не каждое действие за собой отслеживается теперь привычной

ветхозаветной следственностью Господом; отныне суд, казалось бы, мягче, однако одно из большей свободы, праведников отправляющей к Господу, а грешников – в ад. Был ли ад земной хуже ада настоящего? разумеется, нет: историческая справедливость и наказания Господа были формой проявления любви, поскольку все грехи искупались на земле, где всё есть Господь. В условиях постапокалиптических, то есть условиях настоящих или условиях нынешнего метаисторического, условленного с момента своего ознаменования ко всему апокалипсиса, мы грешим на земле, отправляясь большим числом в ад, где Господа, как принято говорить речью человеческой, нет: нет его, разумеется, именно посредством Господа, то есть избавить святого человека от Господа, единственного представителя действительной святости, невозможно, однако в аду происходит последнее раскаяние: раскаяние, уже не имеющее в себе цели и настоящей надежды. Сделай цепь, ибо земля эта наполнена кровавыми злодеяниями, и город полон насилий. Наказание есть форма жертвенной любви, в противном же случае то есть самый обыкновенный, выверяемый врачами садизм. Почему же сам я могу не чувствовать боли?... точнее, будь я карателем: почему вовсе то возможно? согласуется ли то с благодатью, с содеянием?... решительно верю я, что любой акт наказания от человека есть постольку богоборчество, поскольку человек не верит в действительное исправление души, руководствуясь внешностью и общими местами. Тогда необходимо взять выше: тогда необходимо переступить... переступить христианство... Вероятно, преступление то будет оправдываться уже не особенностью настоящего аджорнамента: то... то будет преступлением.

Вероятно, теперь я есть взрослый человек: осознание и сам толк необходимости одного приходят ко мне только сейчас, когда и само размышление об этом скорее постыдно и смешно, когда изначально ясные положения есть положения, что ещё не успели пошатнуться полагающейся же в слабости человека того несостоятельностью: мне двадцать четыре года. Явление одиночества ноне не треплет мои стрезвлённые неуспеванием, слабостью и поверхностностью деланного тела, ибо крайний год моей рабочей должности даёт довольно непросто: несмотря на привычку к технике того, наступает теперь именно лежащееся ядом расслабление по происходящему: чтобы чувствовать себя хорошо, мне теперь необходимо довольно спать, как и голод действительно на что-то влияет; так, жизнь моя сейчас наименее тягостна и наиболее весела и должно радостна, да отчего-то не чувствую я ни того, что пришёл к чему-то, ни того, что рад хоть земным: я решительно ничего не чувствую, и бесчувствие это будто даже хорошо: единственным из обрётённого стало спокойствие: то, страхом чего себя многие укалывают и что являет самые малоинтересные виды снов; теперь я, вероятно, понял, чем является профессия и образование: примерно с двадцати лет я начал одуваться, я видел всё меньше хорошего и стал способен на одно только худшее: в сравнении с подростковым возрастом я стал недеятельностным спокойственным стариком, чьи дела продолжались после

пробуждения и не заканчивались сном, и то никак не звучит странно, да ребёнком я ощущал всё совсем иначе: каждое внешнее воздействие открывало собственность мира своего, и от каждой эмпирики приходилось подолгу сущать прочие следствия; сейчас объяснение этого даётся с трудом и будто дурно, однако тогда всё было частью моей жизни: не было в этом ни надумывания, ни лжи, ибо тогда я действительно жил... я страдал и болел, впрочем, как и все люди, и в немоци этой появлялось величайшее впечатление: впечатление, чей облик способен состязаться с привязанностью к близкому человеку и в свою пользу; лицо моё вправду чуть округлилось, огрубело и стало почти некрасивым: бриться не каждый день я более не могу, и принял я это должным вполне легко... кажется, я многое принял подобным: тем, в чём ранее рассмотрел бы только слабость, в ответ на обнаружение которой сейчас, в сердцах же находя одно молчаливое стыдливое согласие, засмеялся бы; мгновением взрослый человек гораздо глупее и слабее ребёнка, и создаётся чувство, будто все это понимают, тайно побаиваясь его честности; безвыходные мысли эти обратили меня к себе во время засыпания: восторжествовав, хороший режим сна награждает тебя часто и неспособностью заснуть сразу: сперва на то влияла одна недостаточность усталости, но по прошествии ряда экспериментов пришлось признать: видимо, так я буду мучиться всегда; в одном из отстоящих ранее от людных городских заселений и находящихся теперь в самых неприглядных приближениях к новостройкам домиков я снимаю небольшую комнату: склонившаяся частью крыши стена слева деревяною пряностью редких, не облитых привычным тёмным сладковатым лаком заусенцев охраняет небольшую одноместную скрипучую кровать, и я случайно открываю глаза. Я родился от неблагочестивых родителей: в прозябавшей горестию положения прочих существований однеявленных пёстрою рябостию чуть схватывающихся... кивлением срастающихся отбоев металлических чешуйчатых безвеких... радужных глорианов ото блеска станových лакрималисовых ожествий... перламутрового света лиц вопля мышц суставностей пепла темноте... Минотавр был заточён матерью: как я могу признать себя, если родители мои ненавидели друг друга? и... и кошачий корм, он: он богат белком: он достоин внимания... я смотрю к двери, что отстоит к коридору: я был и есть единственный, кто согласился на комнату с дверью, что включает в себя и небольшие стеклянные окошки: я открыл глаза, и в покрасневших опухших пятах моих отразилось белое голое... бесполое, вставшее с обратной стороны двери и смотрящее на меня масляными глазами и широко раскрытым язвами твёрдых чёрных волос ртом тело: то была обезьяна: обезьяна ненавидела меня; в комнате отслеживалась же абсолютная тишина, и усилившимся стуком теперь ударяющего в голову сердца я постарался заснуть: кажется, в представлении кошмаров я провёл около часа, после чего всё же уснул: в час этот я отгонял от себя страшные мысли и образы то молитвой, то

дерзновенным внутриголовным порицанием этих чудовищ ото главы собственной; проснувшись, я уже ни о чём не помнил.

Ты слышишь мои слова. Ты видишь мои слова: ты не можешь их не слышать.

Подстрекающая глушь глумливых слипаний век моих воспалённых острыми клиньями проходится подле бежеватых тёмных морщин поддающихся велеречивостью простаивающегося... Ненависть, против общего мнения, гораздо приятнее и удобнее даже обыкновенного упорного безразличия, и понять это в полной мере может, вероятно, исключительно при свершении подобной ненависти: когда более не тревожат тебя все эти призорные взгляды и собственные неудачи: когда уже нет смысла защищать дело своё и обобщающее место, дело это округ себя заключающее и единственно создающее; я никогда не имел прямого отношения к этому: я никогда не стремился завладеть в этом власти, и в том находилась моя сила. Человек, что ненавидит своё дело, может стать лидером, ядром, вокруг себя собирающим всё сопутствующее, только при трёх положениях: или власть досталась ему случайно, или ко власти он долго стремился холодным расчётом, или окружающее было столь тождественно его ненависти, что уже нет особенного значения в выборе: если всё равно пеплу, обращаться в него уже нечему. Ненависть весела: в равнодушной тревоге ты постоянно колеблешься, исправляешься и стонешь внешней несправедливостью, и нельзя сказать, что люди ненавидящие есть люди, порождающие несправедливость. Напротив, земная справедливость есть давно отошедшее от нас явление, уже попросту дурным стала попытка обнаружить в иной глупости ясную несправедливость; давно, уже очень давно пора признать, что хилизам есть ересь. Чем ты, если угодно, жизнеподобнее, тем больше несправедливости из тебя будет сочтаться: тем тупее будет выходящая из тебя неправда и тем болезненнее она, чем больше ты веришь в неё. Ненависть не подобна трупности, но она по-настоящему чиста: она спокойна, она... только ненависть в полной мере выражает светлую честность. Только ненависть есть продуктивный способ существования, и даже столь он продуктивен и приятен, что первое время приличному человеку будет неловко: ты более не будешь пытаться и делать, ты произвольно оставишь гнев на добрых и дело на сильных, и то не будет пакостью; окажется лишь, что люди сами делают всю грязную работу, что люди действительно понимают ответственность свою и сами берутся за самые неприглядные и тяжёлые вещи; ошибка их была в том, что они жили. Ненависть отдаляет тебя ото всех, однако честность, что с тем приходит, опьяняет не дурманом, но самым настоящим языческим наслаждением, вполне в себе достаточным. Ненависть представляют обыкновенно ветошной и дрожащей, когда о правде она лишена лица: ненависть близка к младенческой простоте, и проблема её не в субъекте, а в том, что всё образуется именно к ней: к боли и страданиям. Ненавистник просто не борется: он не противляется гадости и оттого не имеет слабость во привычном её понимании.

Ненависть — единственный путь к спокойствию, и все, кто говорят, будто положение это неверно, утверждают в мире красоту и добропорядочность, да они же называют красивым только тот мир, что лишён командования, отправляющего детей на мясные штурмы, где одни дети будут давить других детей; что лишён брошенных на горячее язвенное гниение и изнасилованных, уколотых ножами женщин. Кто честнее: тот ли, кто говорит или неправду, скрывая истину, или извращенец, видящий в земной боли красивое не по причинам спасения души жертв, но по наслаждению своему во видах этих, или тот, кто имеет смелость назвать единое единым, а разорванную, хлюпающую на дороге выпавшими, светящимися бликами масляных сал органами жабу — разорванной, хлюпающей на дороге выпавшими, светящимися бликами масляных сал органами жабой?

На земле дрожали обретшие ноги волосы, избавленные от глав. Благодаря этому человек с лицом кота обратил город в пепел. Кабаны затоптали тропические ветви, и всё замёрзло... одно ядовито блестящую на радужных лучах выходящего с улицы, проникающего во все иные плотия особливостью прочих тёмных сотворённостей света ручку с вечно пустым... если и есть то, оно болезненное и резвое: как... и... действие, что лишено смысла, поскольку начато: имеет ли та внешность право на существование? я смыкаю прохудившиеся бессилием веки и нависаю надо темнотою упавших липким мраком луж; от минуту я делаю первое решительное, свистнувшее скрипом застоявшихся бездвижием суставов, легко ими щёлкаю и, не коснувшись пола, сажусь на ударившую глухотою отременного стона старого матраца кровать и уставляюсь почти впритык к скошенному недолготою высоты потолку: шафрановые отлучистые яси спадаются к краям предметов этих, и я замутнённым прозрачием пищащего скота плотности того растения падаю к окну: в нём привычную положенностью я не вижу ничего за обыкновением же... и пискливая сухость пола моим неловким переворачиванием к другой стороне кровати ударяет к ороговевшим неоощущением пятам, я встаю в полный рост: усатые освистывания стен легко касаются меня: щёлкнув старой дверью, я чуть придвигаюсь назад и надеваю изношенные стёртостью цветастых пятен тапки, присвистнув головою к сбелённым грязным чернотам дома: вне своей комнаты я всегда слышу чуть шипящий нерезким звоном шум, да очень редко удаётся кого-нибудь увидеть; подгнившие ощущаемою влагою тёмные половицы двигают мои власти, и еле одерживающие способности прочии неширокие, свергающие слабую боль от вросшего на большом ногте небольшого воспалённого набухания пальцы одно удерживают немоту моего неумирания: я иду к туалету, и дверь его лёгким, ускорившим биения свои сердцем испугом просачивает редкие седины желтоватого, иногда прощёлкивающегося привычным непостоянством света: я, убеждаясь в ненахождении в нём иных людей, подхожу: холодные плиты побитого вонючего кафеля сдавливают мои ноги, и продолжающий чуть стукаться цветийностями

прочних тяжестей падающих остоявшейся прелостью пластинах... оторвавшиеся прямоот тех руки мои напрягаются, и я выхожу: неторопливым щёлканьем приходится выключить свет, оставив небольшую, всё же недостаточную проходку сквози неё, например, для той же кошки одних из моих соседей, щель: впрочем, лоток её положится в ванной комнате, в которую я сейчас небрежным шевелением трущихся по полу носков себя премещаю: душные былые спарения в ней после чьего-то мытья ещё остались, и смешанный с приятным ароматом геля привычный запах прелой влаги ударяет ещё и резким аммиачным уколом: несмотря на необязанность ту, я часто исполняю именно настоящую задачу: убираю за кошкой соседей, в действительности же не имея способности попросту умыться отне вони; свернув яркие жёлтые, остывающие сглублением темноты в том преливания внутри унитаза, я снова иду в ванную комнату, слыша из отстоящей предельно близко к нонешнему своему положению комнаты треск и рокотки того же старого, ненадёжного и неудобного матраса: я услышанным стуком об подобный туалетному кафель ставлю на место едва прилившийся прежней сложенностью части водных, направленных к малопродуктивному умыванию той мочи предметов лоток: отвердевшая иголка давно оставленного кала сделается особенною мгою, и то я вижу последним под обшарпанной сизоватыми с ржавым плеснями давнишне расположенной здесь ванной в этом патиновом отсвете комнаты: замыкая оставшиеся прежним жаром пары внутри, я впервые смотрю на себя: потускневшее утренним набуханием лицо не выделяется особенными замученностью или привлекательностью: вероятно, я самый обыкновенный человек; смирившись с этой мыслью и не имея оттого удивления, я нарочитоу ненужностью стёр подле слёзных каналов своих желтоватые ссохи, включив чвакающую внутри внешне грязного, освытого мутною пленую прежневственного опыта нежелательности сторонних крана воду: сперва льётся на обожжённые тем руки мои прежняя горячая, неизменностью положения принявшая облики уже ледяной: другой рукой я искусным невниманием к самому процессу пытался отрегулировать температуру, так и не обнаружив продуктивного решения: сухие тяжёлые капли скорее прохладной воды стягались с моих неввыкших, принявших непродолжительность гусиных сусенцев тех ладоней к столь же отвыкшему блеском резво дёрнувшегося аморфного тихого, уцерблённо вношне ставшего неспособностью при явлении того одно должного бездвижия лицу: неловко вставшие малопродуктивную формою руки ложились к холодным теперь частям лица моего, и я продолжал умывать слипающуюся желтизною лампы кожу: несколько движений свершают должное же оттого, и теперь смягчившиеся отдалённой привычкой подушечки пальцев моих трут несколько снимающие щеки с; применение собственности неуместной внутри неготовности непривычки есть довольно продуктивный способ... негляд в свои оливковатые кожи продолжается скорее ленивым, нарочито небрежным в лености же перво ответственного

двойного помешательства за тем с отстоящим, подобно всем остальным предметам быта этого, в условной доступности каждому человеку в доме, иногда стенённом белёсыми недолгими пятнышками фонариком бритьём тражением оформленного спецификой давящего сдувающего вздымающего давящего рождается родится там родится срождения ового; морозные движения лезвия медленным отрыванием щекочут мои привыкшие щёки, и оставшиеся прочными кремами отого пены постепенным несвершением окончания моего тянутся вниз, и осевшая теплотою влага сливается к пресноватым укрутам тех продолжительностей: второе бритьё быстрое, да куда менее невнимательное, и точечными скосами глаз своих я усматриваю иные, иногда не сходящие и десятиричностью длин усилий тамошних несвершенства; орозовевшие былою краснотою капилляры ослабляют напряжение сбухших белков, и я, после того обыкновенным положением рук и артикуляций прочных накладывая нетолстые слои плотного голубоватого, отдающего вполне уместным сейчас и прочею приятностью запахом спирта бальзама, смываю с себя опавшие чёрною лёгкостью щетины и протираю лицо полотенцем; чаще я чищу зубы перед бритьём, да сейчас решилось иначе: в любом случае, окончания последовательности того никогда не было; вяжущая свежестью мятная зубная паста слегка режет полости рта, и я словно особенным воскорением обличаю нечистоту достаточностью претензии и желанием более то не делать: я двухсекундным онемением смотрю на облившийся голубоватую пеною рот и смываю всё окончательно охладевшей водой: нижняя челюсть уже еле двигается от того, да подобное происходит каждый день, то уже не есть нечто необычное или хоть достойное внимания; я прильнувшими к полу плечами сворачиваюсь к двери: казалось бы, я мог увидеть сейчас соседское лицо, да фантазия о том свершилась своим предметным неоправданием; ощутив вполне ожидаемый хлад ото освобождения ваннх душных облак, я иду далее: никого так и не встретив уже большим предметом остывших телес и привычным чувством трепетного раздражения, я скрипом оказавшейся здесь же незакрытой двери проникаю в свою комнату; на втором этаже вторые ванная и душ, и потому особенных проблем с очерёдностью нет, хотя того я будто и ждал; за те непродолжительные, осевшие во мне скорее звестняковой невнимательной тяжбиной ущрение тоего песочного пола мгновения на улице стало светлее, и истёртый особенно монотонными цветами одного местами хозяйский зеленоватый небольшой, размещённый совсем близко к стоящей от меня сейчас в противоположной стороне комнаты ковёр светился желтоватыми шерстяными удрениями золотистых, двигающихся единственною грядую способности единоназначенного в том испарений над ним, и в туманы я наступил своими освежившими внешностями: непродолжительная пустота действия застоялась в продолжающем игнорировать собственность скорее по блажи собственных дерзновений уме моём, отчего с несколько минут я одубевшими мешками под

глазами смотрел в привычное, объявленное неизменением шорохов улицы перламутровое блестящее, огранённое пластиковыми импостами ничто: почти все вещи мои помещаются в один шкаф, и вне него комната моя озабвенно пуста, она выглядит подобно готовой к сдаче, и будто я даже старался прийти к таковому результату, на деле же ничего непрочного не имея в виду: я всегда хотел нечто заполнить или создать, да мог одно прочитывать и освещать: я всегда был прикован к характеру явления, но не к позволяющему применить или создать то основанию его, и бесконечные, сдавленные под собой неправдой и звенящим несодержанием разговоры всегда обличали кажущуюся крайнюю глупость успешных в данном людей и мою излишнюю скрупулёзность, да только после мне становилось известно, что характеры эти обрёл мой рассудок именно в желании того обретения, что на деле я великим образом завидовал и попросту не хотел принимать свою неспособность: открывая сверкнувший скрипом и твёрдостью сухости той высокой рябоватой двери отрухлевший шкаф, я впринял привычный, неприятный лёгким запахом пота в рубашке же душок от всей школьной формы моей и снял пластиковую, едва съезжившуюся под немощью рук и веса всего костюма вешалку, в зияющем свете тех звёзд откинул его на незаправленную, неаккуратно отвергнутую прочным кровать и стал искать в одном из ящиков пару заранее увиденного желательностью нейтрального, еле освидевшегося сходящимися с него нитями носка: омоловшимся чуть не отчаянием поиском я коснулся наконец материи сходного толка и лёгким скребком кожи об остроту полки снял его пару; одеваюсь я неспешно и в чём-то больновато: такая неторопливость должна ощущаться блаженством, да тупые пуговицы режут пальцы, а направление ко внешнему оголяет мои слабые, скорее должны сдарению боли во мне мышцы: я лениво одеваюсь и вдыхаю последние прелости своей комнаты: один носок нарочито сбивает меня с толка своим излишним, возмутительным скорее по несимметричности чувствования подобного давлением; довольно мятая плотная дешёвая рубашка скрывает запахи трёх полных рабочих дней; невыглаженные сероватые брюки начинают придавливать сширенные замедлением моего метаболизма бёдра, а несомкнутый пиджак ложится на боках скорее нелепой, освежёванной бычьими мордами тряпкой; едва я создаю вид ухоженного человека, да одевание в костюм вошло в привычную ритуальную обязательность; сдёрнувшиеся кбоку глаза мои резво о чём-то задумались, да предмет этого чего-то сокрылся и от меня: я пытал себя слаженностью, и простота же реальности этой взрыла меня своею резкостью; собравши в дипломат неразобранную кучку тонких, пованивающих худобою и содержания несообразных тетрадей, я прижал к бедренной, отхрустывающей порой полостями кости куртку и вышел из комнаты; ключём от неё я никогда не пользуюсь, ибо решительно ничего из неё не будет для меня потерей: вероятно, укради у меня некто и самое важное из имеющегося, я стану сильно свободнее: хоть в жесте ума своего освобожусь хоть от крупницы

предыдущей жизни моей, нависшей дикой вопящей галлюцинацией. Выходя из комнаты, я касательно неряшливостью и сбитой книзу головой подождал, пока кто-то пройдёт в одну из соседских дверей: людей этих я не узнал, как и не узнал, в какую комнату они всё тащут, да в соответственном порядке они вносили на второй этаж дома горшки с асфоделусом, базиликом и гвоздикой.

Человек с лицом кота содрал с себя шерсть с кожей, и мокрый, выдернутый непривычно гладким среди рыхлой чёрной крови оставленных вонючим мясом бугров комом нос его дёргался, пока камни не взмыли туманом: туман появился из-за этого человека, и лицо его более никогда не было прежним. О лице своём он порой думал: думал тяжело и долго, да плывущий в жёлтой, развевающейся петлями ветра воде червь имел голову: вернее, кажется, сказать, что имел он морду: стянутую весом массу, состоящую из налипших на ртах глаз и открывших кость ноздрей. Кость было одна, и червь знал это; через трое суток молящийся за червя человек погиб, и тогда восстал супротив он.

В шуме города я постоянно слышу лай: я слышу его и оборачиваюсь, хотя знаю, что иные галлюцинации мои совершенно не имеют под собой основания угрозы объективной реальности; я знаю... я знаю, что опухоль не чувствует боли: я знаю, что лишь кусок... кусок Отца не есть Отец и даже не отец: опухоль можно вырезать. Люди теряют и те незначительные, сокрытые за болотными хитиновыми кожурами озабоченности собой нутрянности души, когда видят своё же: в естественной среде человек не мог увидеть собственного лица напрямую, без искажений, и потому не полагалось, чтобы царь мог представлять не волю Господа, но свою. Власть есть вещь, даже не настоящая испытанием, но совершенно противоестественная, результат уродства: результат положения метаисторической справедливости о необходимости жертвы Христа: необходимости показать всем, но не народу, ибо человек слишком уродлив: ибо человек слишком безобразен, чтобы понять всё с первого раза. Иван знал Захара: Захар выступал за социалистические идеи, общем, не значащие совершенно ничего иному трезвому человеку, однако в жизни едва хоть что-то выделяло за собой тот романтический идеальный мир, каким чуть посвистывали склоченные неравномерными грязноватыми комьями идеи Захара. Захар никогда и не пытался объединить всё в систему, совершенно не понимая вполне чёткую иерархичность разницы между общим и его аспектом; Захар был довольно дурён умом, телом и уж точно душой, да чаще окружающие его в тот период люди были ещё дурнее. В Захаре выделялся энтузиазм, и одна тупорылая способность бездумно продолжать одну дурноту другой дала ему достаточную для революции власть, выраженную готовностью определённых его последователей пожертвовать собой будто бы для важного общего дела, в сущности одно легитимизирующего убийство настоящее и самоубийство жертво. Захар был силен в том, однако он не знал, что человек имеет свои определённые в себе ограничения,

никак не могущие быть преодоленными и при всех формах восхищения собой: он верил в плоть и даже старался упражняться в силе, однако за день до революции он умер от кровоизлияния в мозг. После этого его друг Иван, едва выделяющийся на фоне харизматичного друга, оказавшегося сильно слабее умом, чем был сам Иван, получил в свои руки неограниченную власть. Много ли было подобных Ивану? безусловно, много, целый рой топчущих землю, представляющих при удобном случае один из видов неубедительного внушения иной неправды довольно крупным числам еле окончательно согласных и с существованием души людей созданий, да благодаря Захару топот этот стал громче. Иван имел знание и заблуждение, и следствия знаний этих и решений могли оказаться катастрофой для человека, однако Иван никогда не имел амбиций и желаний как таковых. Произошедшее оказалось случайностью, случайностью довольно страшной тем более для подобных ему из искреннего неверия в жизнь вне земной копоты человеческой гордыни. Иван знал, что человек безобразен: в знании этом он был прав; также Иван не верил в Господа и не отличал рай от Царствия Небесного: в знании этом он не был прав. Иван разрушил всё: молчаливое присутствие его развалило землю и человечество, и властью, неудачно данной случаем, не имеющему довольно для стремления нажить богатства и общественную любовь тупости, была пагуба; восстает сила на жезл нечестия; ничего не останется от них, и от богатства их, и от шума их, и от пышности их. Когда-то я ещё видел в пыли пыль: теперь же в пыли я вижу неубранность стола, и дело о том есть в обычной человеческой слабости, оправдавшей не успевшее быть озвученным знание. Гул за окном гавкал всё медленнее, ибо улица стирала за собой кислый плевок холода: холода, жадно глотающего облитые зудящими крапивничными пятнами рука мои.

Звук бьёт по мне, и я подваливаюсь розовой небесной рябой, и влажные хлысты спавших сирен срывают глины того смрадного отвращения от всегда положившегося рядом, вонючего гнойниками неприятия вопианной отточности свечения продолжающегося серебристого громоздения свистов оязанных десобладных выравниваний отпроникающего уколами ядовитых едких инфекционностей подобных ужасов предмета: звонким гамом рвущиеся нежные неподготовленные тонкие локоны ослабленных мышц, что сферы те срывают с себя и принимают после соевением галлюцинации оболоч; преливающиеся перламутровою краснотою дымки пепла этого одаряются верёвочными свечениями.

Я вдавливаю омутневшие условностью утра стопы в чуть излишне стягивающие меня туфли и произвольною тяжестью выхожу из дома: лестница ко второму этажу глухим призвуком соскрипывает иным содержанием, да я продолжаю нетерпеливо шоркающий по отречениям уподобленного плотностью осмертного риска стухшего трупа снега шаг: свинцовые жирные вены улицы просачиваются в отпотевшие теплотой неряшливо длинных,

ломающихся крючковой неправильностью волос ноздри, и начинающие замерзать руки мои помещаются в расторопно одвинутый кверху спряжением низовых куртки карман; первое движение обёрнутого ударом двери пёстрого сустава скользнуло по овладевшему влагою белых теплот камню, и жжённые чешуи моей кожи падали одле стравливающего морщинами искажения солнца: позади меня недвижною тяжестью дрожащего страха остался дом, и лица в нём никуда не смотрели, хотя я и видел; твердеющий холодом дипломат я держал всё быстрее отупляющею влагою онемения руки болью, и в осязании желательности действия перчатки с кармана я продолжал шевеление надо нереактирующей прямою металлического рванья отстроенного страха: придвигаясь к нему, я чувствовал лишь рокот пустоты: жизнь придвигалась, и; иногда остукивающие, дерзнувшие собить излишне робящиеся формою решившегося в неустойчивости сугробы ноги мои старались преходить высотные положения того пёстрого отрождения необходимости спятнённого серостию уноровых оглений плавающих априорных неспособностей понять: осложнённые чернотой небес пята того съавляют почти самообыкновенное собою, и редкая краснота щуповатости этого белёсого лица уставлялась к стыду осязания ненужности собственного о надрывов плотностных внешностей сревения пенистых материй семинового, предвигающегося шёпотом безверного вранья оторвавшихся крыльев создания, и три лица его с суставностей обходили одоевое значением отточных длин ровных весов сходящихся нитей вросших металлических драконоподобных, единственных форменностию рук человеческих складок отоворганных непоследовательностей тонких овлен с озябающей состением несходящего смрада вярченного жёлтого о плены сна и галлюцинации жизненного головою масок резания тоих бирюзовых колоссов пульсирующих обрабатываньем мира же в условности их следствия очищения материи ото органов, и органом же этим в корпусе создания словеческих мышц, сил и вида: обширные порооющей вийственности пут неопределённых ложей тяжестью правды небеса придвигаются ко мне, и круги граней их опуклым зудом огибают ковентриево, означенные принадлежности нетого в свете белёсых отрезанностей ран отпавшего же существа мира этого ото сдержавшего темноту нерадения должновенного в шанкрах облавного коркою сиротливой вечности пепла оположенного порока виды, и еле скользнувшие скрипом по стеностии этих неупорядоченных вый кажённого чудовищем плотий обоевожденных краснений вправленностей блесков перламутровых означений предвестного подошвы мои пребывали сходящиеся супротив того отогбенного свежением веления неподчинения иерархического ступенчатого шага ветра скрутывающихся петель вымь тоего телесного омения шороховатости шерсти одавленного вверения благого ото чувства же солидеяного в стона уличных орываний стеночных блесков: город словно лишился человека, словно раздающийся везде гам живота пустоты его есть одно гам, и более никто не соблюял здесь,

хотя и видны мне пошевеливающиеся рядом гряды мутноватых разводов оболочек ранее человеческого, и скрягаемый ото них шум порой срастанием опухоли сближается со мной, отогненного конечно отбросившего любые виды их: неточность обрастания того власиного доверия оробевшими гроводиями облагает те внешны долии, и светится же искра того небесного зачатия: я остолбенением орошаемых невод прехожу ото грелости той реставрации, и восполняемое сущим в чувстве иллюзии скрывается: дорого искажает облики себя же, и срастающиеся с ударением предающегося в скрипе влаги удараения пути её свербят дрожью разорванных костей: опложение отделившегося тростию каменных слетений коверху тротуара преливается громоздением авсочений нитиевых озёр того предела бордюра, и эти шороховатые холодные отвержения бились обо ослабленные гулом мягкости волны их тканей, и я: серина воздуха питалась дрожью лиц моих, и отъемленное светлостью формы здание: эти сизые громоздения казались сильнее прочих, и стянутые очним сравнением глубления этих синеватых бликов отделялись всё новыми строгими полосами несовершенства того: и глаза мои впали внутрь, и озудевшие смертью скулы; я снова вдыхаю ядовито тяжёлый воздух, и смылившийся оевними растениями металлический невысокий чёрный забор единого неразнообразия оставляем был то, и чуть выдающиеся с шапки свечением дуновений сокирыстых волосы мои отделялись к заднешнему, и человеческие ноги придвигали всех, и всё снова казалось мне обыкновенно и без различия: я был рад, что всё позволяло мне размышлять, и рад, что.

Ночь даже не мерещится: вокруг искры, взрывы и гогот; звуки эти, кажется, даже полны чем-то: по крайней мере, они являются полными для кого-то. Для кого-то, но точно не для меня. Дело не в том, что я особенный: может, имею я право не быть особенным, за то отдал бы всё, что имею, да я... Крапивница сильно зудит: зудит очень сильно, и я стараюсь не чесать чуть вздутые светлые пятна под ключицей, и даже появляется мысль, да стоит подумать о том, и... и всё: и тысячи исключений для того во мне образует, и совсем чудовищные и смешные вещи я говорю и думаю: точнее, в момент этот вещи те для меня совершенно серьёзные и даже столь значимые, что... ну, космически значимы: не просто дурнота иная или подробность быта, но вещь самая крайняя, последняя даже. Бывает, годами идёшь к чему-то, и то же время тратится с тебя на всяческие искажения: где-то то-то оказывается другим, а где-то – таким, и... и ты уже занимаешься совсем не тем: ты уже душу стираешь свою во имя бухгалтерии, а иное дело, вроде как, есть и дело слабое: неужели я, человек... неужели человек действительно не имеет способности на подвиг? неужели человек от подвигов только кончается? неужели воцарившийся честный человек есть только калека? а власть же случайная... только случайная власть имеет право на существование, поскольку только такова может быть вещь, по природе своей иная единственности разросшейся в человечество

плоти. Стол шоркает мою ногу: я смотрю на стол: я смотрю на него, и медленно воздух задыхается моей кровью. Всё покраснело: всё почернело и опало, и таковым всё стало давно: таковым всё было всегда. Никогда отвлечение на предмет не давало надежду, если только надежду не понимать как обычную ветреную глупость. Да ничего здесь нет: ничего... если быть подобным мне: только так ясна жизнь: чистая жизнь есть только в одиночестве, бедности и гневе: всё иное же есть жизнь, в которую примешали богатство и тщеславие, влюблённость и страсть, детей и семью, да ведь я живу: живу я не страшно и не больно: по крайней мере, ничего из жизни моей не изымается, да она мучительна. Жизнь моя тяжела и горяча именно из того, что она отражает жизнь без прочего наслаждения: не я аскет или извращенец, но все вокруг упивают себя за неспособностью постоянно видеть жизнь прочими удовольствиями, сильно... столь сильно отвлекающими от жизни, что та им кажется неплохой. Прошу заметить, что вам не жизнь кажется неплохой, но только один аспект её, и аспект столь изолированный и частный, что просто дурнотой будет примешивать её к общей вязкой язве оставшего мира. Вам нравится не жизнь, но улыбка вашего ребёнка: постаравшись не отводить неловко смотрящий на бархатные позолоты пошлой выдуманности взгляд, столкнёшься ты с тем, что жизнь есть горячий, бьющийся судорожной мышцей вопящий кошмар, и будешь ты долго всматриваться в изливающиеся хриплым писком лица внутри него, и будешь нервно посмеиваться, отвлекаясь на выдуманную болезненным стоном сточенного ума твоего шутку, и после шутки той: и после этого ты будешь хвалиться положением: точно выгодным и знаменовавшим твою жертвенную силу. Если души или красоты видеть ты неспособен: если попросту не существует того, в дрожащем бреде безумия остаётся только похрустываниями трескающихся сосудов глядеть на себя: пытаться обмануть внешность собственной неправдой, зализанными блестящими лепёшками обливающей тупые пьяные лица.

Лёгкий, слагающийся иным уверенным шипеньем о внешнюю угрозу кротовых сантиметровых, облёгшихся ломко вправленной в землю попеременным омвением холодных, сходящихся с расположенных выше на отдалившиеся острыми, подбивающими порой сторонности иных школьников и даже робкою неуверенною шероховатостью ступающих на плоть того муниципального учреждения, что собственной государственностью имеет право заключать умных в пять раз дольше, а незаинтересованных и неспособных — в три раза менее должного, учителей ступенями три метра дверей паров плиткой пут шаг мой излишнюю высотой возвышает меня к этой белой пластиковой, едва ли способной здание это оградить от угрозы неодинокой, вдавливающей к себе чёрную резь замочной, уже лишённой необходимости обращения к себе пошарпанной личинки двери: ступени эти широки и ограждены длинными поручнями, за которые никто из проходящих мимо и подле не держится; рядом со мной идёт, кажется, довольно приличное количество людей, да я могу только

воображать об их присутствии, в действительности никого из них не видя и ни о ком из них не размышляя: скользкие просвистывания чужой обуви смешиваются с тем же плесновенным даром гуляющего ко мне опиянием человеческого ветра, и в неостановившемся придвижении к той самой двери я неуместным недостаточным щелчком головы кверху замечаю странную, замеченную отчего-то лишь в дальнейших осмыслении и фантазии тем строгим болезненным чувством особенность сегодняшнего неба: облака удивительно неестественно расставлены по сторонам, будто пышный прохладный вид их долженствует чьему-либо прохождению, и я задумывался о том в недвижимом юродстве дальше, как предо мною предстала неожиданная, еле бухнувшая о мою обувь твёрдость белой двери: теперь слух и зрение мои снова вернулись ко мне, и не встретившие ответа приветствия учеников прояснились скорее раздражающе, однако не внемлеще мои честные реакции на то резью: в перламутрорадушных пенках лучей ударяющего к этим светлым свестям солнца встала ото меня в ожидающем скорейшего ответа, недовольном иному промедлению подходящими уже к двери людьми мгновении она: я разглядел сперва коричневое пальто шерстяных, еле развевающихся в направленностях прочного облока, над которым ярким проленцем срывался милый вил моей прилежной выпускной ученицы: розоватые румяна стройного, античновыделенного, не лишённого необходимой скруглённости лица натягивались над сглублёнными сбоку от широкой честной, обнажающей ровные белые, лежащие под нежными, чуть красноватыми естественной приятной припухлостью губами зубы улыбки: тут же уколол себя за выявление перво в ученице девушки, я привычным сухим, излишне и даже смешно серьёзным натянутым голосом поприветствовал её, чему она, после побежав чуть вперёд меня, видимо, обрадовалась; я придержал неожиданно сильно напрягшейся, держащей ещё и отвердевший рукой дверь, пропуская каких-то неизвестных, благодарящих за то, разукрашенных лепестками дрожащих каледоскопической сменностью тканей одеяний и несоразмерно больших, могущих быть сравненных с половиною самих тел детей рюкзаков своих у самых разных, неуместно пристающих к глазу кислотностью и несовпадением цвета общего и цвета частного младшекласников, и прошёл я заметно сбившимся шагом в уже узком недлинном коридорчике через такие же белые пластиковые, будто вмещающие в себя также и иные двери столбы, касаясь наконец внови ещё одной из них, за которой уже и дёргались постоянными неловкими ударами курток частично спутавшихся в зыбучем потоке детей турникеты и центральный, приветствующий всех одарённой экранами для слежения за злоумышленными детьми стойкой с добродушным, всегда помнящим по именам почти всех учеников и у громадной их трети даже даты рождения полным, на деле же являющимся запойным, справляющимся с зависимостью хоть непрекращающимися сменами пьяницей охранником коридор школы: с блеснувшим в мои ослабленные темнотой фантазии глаза светом я вошёл в

часть своего рабочего места: озябшим невниманием я произнёс приветствие, видимо, довольной прозорливостью всё же угадав ответом кому-то из ранее меня увидевших: пребываясь неповоротливостью своей сумки, я неловким движением обращаюсь к внутренним карманам куртки и достаю оказавшийся ненужным пропуск: чуть пристав, охранник бережной улыбкой окрикнул меня и нажал на кнопку пропуска: на недлинном невысоком, вполне позволяющем в себе застрять полному человеку и пройти над собою высокому металлическом турникете загорелся за чёрнотой еле блестящих в тусклых светах школьного привычного приятного запаха дисплеев зелёный угловатый писк: скорее отстранённую небрежную тупостью к человеческому кивнув охраннику, я надавил на крутящуюся твёрдость турникета и проник снова обернувшись нарочитостью назиданию вновенного изменением в пространство моей деятельности: неторопливо посматривая на расположившиеся чуть выше и дальше электронные, пребывающиеся яркостью иступлённо ударяющей в глаза красноты часы и видя достаточность времени для подготовки, я торможу резво проходящих за мною детей и скружаю пространство внешнее к себе; я дёрнувшись в тишине этой озабоченным врачеванием трудов неволью топнувшей правой, оставляющей ещё оседающие на полу разводы таявшего непродолжительными мутными, достойными в производстве учеников самых настоящих мучительных порицаний со стороны одно взбуктетеневшихся скорее собственностью более взрослых, при мне не кривящих соблазном внимания молодого преподавателя, однако всё же включающих по жалованной эмпирике и молодых симпатичных, всегда излишне робких и нервных, при мне достаточно очевидным замечанием старающихся выслужиться или понравиться в искусственной, неестественной, да всё же остающейся соблазнительным, умильным и лестным манере коллег моих женского пола учителей лужицами снега ноги направляюсь к малой, скорытой за вполне грозной продолжительностью, преобладающей серостью и чернотой шевелящихся невеликих массой шумно переобувающих, ещё не стянувших с себя розоватость внешнего хлада учеников лестнице на второй этаж: немного теснясь молчаливой аккуратностью в том, я наконец неизменным шорохом своих одежд попадаю в условленную чистотой, даже грустно спустившуюся необычной пустотой область: уже почти в тишине ударяющими по хладу светлой, только редко вбравляющей в себя песок чёрных песчинок плитки мокрыми туфлями я касаюсь невысокого бортика внови белой двери и необязательным наклоном дрожащей в инерции тех импульсов спины поднимаюсь ко второму, вмещающему общий неучительский, видимо, по причине невеликого коллектива моего пола в нашей школе мужской туалет этажу через слегка просыревшие каменистые плёнки тех узоров мягко объявленного аккуратным молчаливым запахом здания. Сверкнувшая воплем незамечания моего, отяжелевшая неизменностью быта того тишина. Выйдя из ещё шипящей позади смыванием воды кабинки

и легко стукнув дверью к ней глухим, повторяющимся даже в кротком эхо ударом, я спускаюсь под писком туалета к отъевшей свои соскаблившиеся нутряною металлическою чернотой белёса раковине: скрипнув нечистою сребристою шестернёю, я стал причиной звонко ударяющейся об плоскость этого побелённого материала прозрачной, облечённой последовательностью крутящихся правлением стронного волн рвоты его, руки мои придвигались по велеречию этого перламутра, и я уже счищенными неизвестностью угрозы руками набрал едко плескающейся в себе воды и чуть отпил: непостоянно полоща ею рот, привкус сырого яичного желтка усиливался, и я спокойною нервностью сплеснул эту воду в раковину: зеркал в туалете не было, однако в отражении заляпанного крана я видел падающие со слюною гряды тонких водяных струек. Гул.

Зудящие светом окна: я вижу их почти каждый день: плавающие светлые пятна оконной рамы сцветаются правною особливостью той подремянной сдвоенности отметалиевых надутых полос: едва проглядывающийся за темнотой света запотевших мутноватых, давно грязных и имеющих могущие быть рассмотренными одно в пристрастной пристальности рисунки школьников стёкол мороз пестрел ото рябой тяжёлой теплоты класса; я веду последний урок: шатающий поскрипывающим будто ото нарочитой сменённости того положения им стулом, остриженный родительским назиданием скорее неприглядно обнажающей широко отстоящие крупные, смотрящиеся более как лопасти уши причёской Влад изображает напряжённое действие написания, хотя при пристальном или хоть немного внимательном наблюдении окажется, что он уверенной холеричностью стирает внешние покровы уже зарубцевавшейся сглубинами отрывистых ран страницы худой, вместившей в себя ранее, как он считал, лишние, способные уйти на дело иных уроков листы тетради с зелёной, попорченной и о меня нежелательными карандашными замечаниями об отсутствии всё ещё зыбко сдёрнутого существом своим имени на той обложкой: дети действительно не понимают, как наглядны их незнание и хитрость или леность; Соня, некрасивая, но да харизматичная и весёлая, полная, довольно способная девочка, хотя способными на момент образования уровня подобной простоты и являются вовсе все, кто имеет смелость, время и силы тратить свою жизнь на прочую условную абстракцию вне явных патологий психических и психологических, растрчивает стонущий в нечестных нелепых устах другого, запретившего в неправде и гадости школы учителя быть названным нежелательным и дурным ото тех же невнимательности и некомпетентности потенциал в робких, продырявленных нарезностью щёк переглядываниях с заинтересованной трусостью отстоящим на другом ряду параллельно с ней Карлом, прежде девственно красивым, начинающим запоздало роговеть гнойными красными жирными родниками невысокого, ударенного лёгкостью влас лба; необщительная, имеющая очевидные любому учителю, игнорируемые ими из обыкновенных трусости и

праздной лени проблемы в семье не без оголяющегося под редко дёргающейся чёрной, просвечивающей гладкий, иногда сознательно нацеленный на беспорядочное, интенционально лишённое образа следствий привлечение парней рубашкой насилия голубоглазая Лия уже обрисовывает бегло написанное, получившееся всё же лучше любого из сейчас пишущихся сочинение маркерами кислотного, даже неприятного, не совпадающего с другими из узоров на сочинении цвета: я давно уже грожу ей за эти самодурства, однако после она только кокетливо поднимает на меня глаза, краснеет и молча убегает, за той ребячливой розоватостью забывая, что в свои семнадцать лет она уже и выше, и старше на вид меня; Максим, измученный заранишней подготовкой к отстоящим ещё сильно далеко экзаменам, постукивал тяжёлыми, не блестящими из осевшей с дорог соли сапогами по металлической части ножек шатающейся к его напряжённо рисующему в тетради, которую сейчас использовать и нельзя из присутствия там подробного клише ныне написываемого всеми сочинения, соседу парты: чёрные, отсвечивающие почти сапфировую резью волосы сворачивались к ровно оголяющейся коже на макушке перхотною чесоткой, к которой он иногда обращался: тяжёлые глубокие синяки под глазами особенно странно выделяли его рассеянный задумчивый взгляд, и даже с тем он был красив: вероятно, красивее всех в классе; невысокая, излишне худая, носящая мешковатую, да удивительно подчёркивающую её фигуру, порицаемую руководством школы одежду Вероника бессмысленным страданием уставилась в доску: рука её не писала, но держащая ручку кисть была напряжена и, казалось, готова порваться над давлением усилия в том: думается, если бы я не замечал едва торчащий из пенала салатоватой рябостью тампон, не понял бы и причины, и внешности её страданий: легко простёршаяся по виску вена непривычно надулась, а сам тон лица чуть окраснел: видимо, при недавнем выходе из класса она выпила обезболивающее, до сих пор не возымевшее влияния; Марлен, одна из главных отличников класса, усердно писала: про неё тяжело что-то сказать, поскольку именно та тупая исполнительность, с какой она подходила к учёбе, не могла сказать ничего, кроме её исполнительности: она была слишком велика в своём усилии, чтобы то помогало назвать её исключительной, а не терпеливой и послушной, и сами результаты не становились довольно высоки, дабы то было способно насытить её бытие: просто одним из очень немногих, чем она занималась с половинчатым успехом, была школьная учёба: она сдаст экзамены, поступит в институт и закончит его, однако после того ей придётся столкнуться с пустотой: разумеется, то покажется несправедливым, если бы сама справедливость как историческое явление сейчас существовала: только когда она лишится надзирателя, ей сможет сделать что-то самой: она красива, высока, ухаживает за собой и во всём выкладывается на самую похвальную и признанную неизобретательность, да ничто в ней не выделится иной стороной, и в том, конечно, кроется восхитительное и светлое, чего в ином

человеке почти нет без Духа, но проблема в том, что Марлен и люди толка Марлен готовы ради корпоративного устава сгрызть ближнему сухожилие: эта посредственность есть не хлеб и вода или прочее лишение, а неспособность созидания и самая явная скупость, общем, необязательного ума, что уже сейчас может ради продления своего заурадного пути оболгать друга и толкнуть стоящего на пути: несмотря на прямое отсутствие любого праздного удовольствия в своей жизни, в ней гораздо меньше человеческого, поскольку с самого начала оно не было никуда направлено; Глеб, в общем, есть архитипический трикстероватый паяц, которого не любит весь великовозрастный учительский состав, но я нашёл с ним общий язык: написав то, что мог, за десять минут, он спокойно устался на оголяющую ноги уже вполне откровенными платьями Олю, и удивительно даже, что номинированный хулиганом действительно не может дать обратного знания: всегда он будет вести себя так, ибо не умеет иначе и не может тому противиться: всегда он будет делать плохо, ибо никогда не возымеет терпения и хорошей мысли; короткостриженный полный, нелеповатый в своей серьёзности Никита усердно пишет сочинение, впрочем, усердно он делает уже с год абсолютно всё: обретя некоторый идейный остов, он неизменно движется одним благим, хотя для сверстников и даже в объективном взгляде из воспалённого возрастом несовершенства всего деянного оно становится ближе к смешному: несмотря на дурноты уже получившегося, соответствие хоть светской индивидуалистической идее поможет ему быть человеком более приятным и благодетельным, чем иные отличники; песочный, отвлекающий меня моим же уродством, несовершенством и гадостью моих же, кажется, даже не проявляющих во мне идею, да говорящих о моей пустоутробной калечности мыслей, дым человеческой пыли оседал всё сильнее в желтеющей полосой солнечных лучей кабине, и отчего-то всегда дым же и перерождался пустотой: оставался только слабый гладиановый блик, и искра эта разгоралась иной раз до звезды; при желании звуки внутри кабинета могли быть представлены непрекращающимся седым шёпотом: гул, когда чёрные контрасты кожных ран сквозили через опухшие маслянистыми, не обретшими ещё и уже окончательности миазмами стены, одурял меня и сводил с ума: вероятно, этим называют скуку, однако во мне это становилось всё глубже и опаснее: я вырос, я более не ребёнок, хотя особенной разницы с находящимися под моим надзирательством и не вижу: они несовершеннее, и тем главно оборачивается наша дельта, когда в умах их ещё пасётся звенящей поступью звон удивления: когда моя спокойственная тревога представляет, как и чем должен существовать взрослый человек: это существование среди гудящих озоновой свежестью школьников приятно, и беззаботно, и просто, однако по ночам я всё же вижу скорбящих мою жизнь существ: их гладкие незаострённые лица хотят пожрать меня, и темнота осевших в углу глаз всё интенсивнее шипящими ударами проникает в мои слабости и тревогу; меня отвлекла Надя: некрасивая

худая, карикатурно творческая в своей карикатурно заурядной вырождаемости девочка, которой нравится делать всяческие неожиданности по отношению ко мне: сидя на самой близкой к моим отупевшим приставленностям парте, она молчаливой стеснительностью передала мне обклеенную с моего разрешения розовой кислотностью дешёвых наклеек тетрадь и небрежно оторванный торчащим острыми зубрениями куском лист чистой стороны: с обратной, что понятно по еле пробивающимся рельефу и проявившемуся цвету, было что-то нарисовано: поскольку она ничего не сказала, я только лёгкою формальною улыбкою разрешил ей оставить это у меня и взял тетрадь: это было мне скорее неприятно и тяжело, ибо осаждало мою жизнь новыми обязательствами, хотя как раз и отсутствием таковых я и был на деле мучим; пора собирать тетради у всех остальных.

Я не знаю, отчего я решил отучиться на преподавателя: точнее, тогдашний я, семнадцатилетний, прекрасный своей смелой тупостью юноша, безусловно, смог бы обнаружить с сотню причин и отстранённых от дела болтливостью моей славных сторон работы учителя, да сейчас я другой: сорокалетний профессионал посмеётся над моей фаталистичной задумчивостью, однако я точно знаю, что профессионал этот также стоял на моём месте, прекрасно понимая, что место это не принадлежит ему: в мире есть куда более талантливые, человеколюбивые и попросту умные люди, способные выполнить долг этот куда лучше, однако: однако учителем становится не самый способный, но самый терпеливый, порой даже самый загнанный из талантливых: такой, чтобы в положении этом он всё ещё был способен каким-то образом смотреть в глаза обезумевшему новой дурной, никак не согласующейся с объективной реальностью идеей директору. Я буду описывать всё так, как оно есть, не привирая любовью к себе и не пытаясь очернить вполне себе бесцветные малоинтересные университетские пытки: на многих якобы элитарных специальностях высшего гуманитарного образования довольно тупой для обольщения тем и довольно умный для отказа от работы над всеми бессмысленными глупыми университетскими заданиями молодой парень относительно сносной внешности будет чувствовать себя совершенно приятно, пока счёт девушек с факультета, с которыми у него была связь, не начнёт напрягать уже сверкающей в тебя бездельностью: так можно сказать про многих, даже почти про всех, но я отличался, причём отличен я был, видимо, отказом от конца того, чем упивался: мне нравилось чувствовать себя умным, однако только сейчас, работая с детьми, запоминающими всё уже сильно лучше меня самого, я понимаю, что хвастаться знанием, временно блестящим пред тобой и после забытым, есть одно из самых смешных со стороны занятий, и столь нелеп весь остальной образовательный процесс, что нелепость хоть сколько-то продуктивную уже почти уважают. Все дисциплины, связанные с методикой преподавания, в существе своём являются профессиональным ежедневным просиживанием долгих часов со

временем всё же стирающихся штанов: университет обязан предложить студенту что-то в обмен на его деньги, и потому предлагает он определённые часы, и то, что часы эти не согласуются с самими преподавателями в своём должном значении, то есть в эквиваленте, позволяющем преподавателям часы эти изменить, уже говорить довольно о настоящей университетской системе, по крайней мере, там, где я учился: глянец материала выдумывает человек, к материалу никак не относящийся, и потому тому и учился подобный мне студент: во всём значимом в натягивании полезного на бесполезное и в способности случайным чудом защитить условно выданное тебе знание, в конечном счёте обретаемое в последние две ночи перед экзаменом. Студенческая пора часто кажется самой бредовой и тяжёлой, и она действительно тяжелее школьной, но воспоминания о ней чаще светлее: сильно светлее воспоминаний школьных, закреплённых на одном только впечатлении от нового. На четвёртом курсе школьная практика окончательно отрезала от меня идиллическую фантазию о европейском учителе, улыбающемся ученикам во время неспешной ходьбы к школе, пока тёплые лучи освещающего зелёные, томящие невысокие каменные домики холмики солнца согревают его потёртый кардиган: я понял, что вместо улыбающегося солнца я буду идти, видя недалеко от школы умершего от холода бездомного; и нет даже во мне страдальческой жертвенности: этому бездомному я так же отказал в помощи, как и ученику: я столь же виновен, как и остальные; я перестал думать об учительстве как о чём-то приятном: вернее, я и раньше не думал о нём особо усердно: мне нравилось бездельно называть себя мимоходом будущим учителем: теперь же я понимаю, что ошибался: я ошибался, однако государство, понимающее это ещё нагляднее, не готово меня отпустить: пока будут подобные мне, ничего не станет лучше: я понимаю это, однако действие кажется мне мучительным: думается, это не лень, однако в то же время и нерадение... я был покалечен собственной ветреной дурашливостью, и тяжелее даже, что ни на что я не могу пожаловаться: я сам виноват в этом: многое в моей жизни не зависело от меня, да я мог всё изменить, и там: именно там, где волевое усилие способно было меня спасти, я показал себя худшим образом.

Я сижу на стуле. Стопка непроверенных тетрадей мало меня интересует: вновь уверившись уже формульным мне счётом времени и возможных дел я обнадёживаю себя ещё многими свободными часами отдыха: отдых этот обыкновенно не имеет вовсе никакой занятости: я думаю о свободном времени и редко делаю рабочие обязанности, и с тем всё сильнее приходится уверяться, что время это и не могло быть заполнено: мой человеческий ресурс полностью себя использует, и только частые самообманы говорят о лени в контексте самой явной неспособности; тесная темнота моей душной комнаты сбавлялась пекущим недолжным лучом ото ядовито стонущего пестротой горячи ужаса окна: только чуть подумав о том, я ненарочно повернулся к нему, и в сверкнувшем галлюцинацией пробегающем

крупном, снурённом моим замечанием оболочкой гигантского, вылеченного желтизной людей внутри кролика без кожи создании едва отвлёкся, ничего от рассмотрения подробного не увидев и уставившись в окно: безмолвие начинающего заканчиваться светом дня страшною резью ударило в меня, и в окне я увидел свышающееся двумя третями неправдоподобно большое лицо: лицо имело красные, пребывающие золотистыми огранениями блики среди общей коричневатой тусклости, форма его была чуть искажена сбоку, а рельефы кожи подобны натянутым стариковским, с некрупными болезненными впадинами под скулами, брови же были худые и почти отсутствующие, губа есть кроличья, а волос на голове не было совсем: его лицо было словно еле удивлённое, а рессендовское же; приоткрытый рот и глаза наполнены бурдовой чернотой: они не были выколоты или срезаны, но то есть темнота; галлюцинация эта длилась четыре секунды: спустя это время лицо исчезло: не слилось, испарилось или сдвинулось: в одно мгновение галлюцинация закончилась, была удалена из моего ума; я повернулся обратно и привычной спокойственностью начал проверять тетради; скрипящие под босыми, слипающими волосы и грязь пахнущими ногами моими полы нерезво дёргались в неуверенных редких движениях: иногда бахающий еле освещаемым бликом покрытием стол глухо шоркал моим видом под ленивой уверенностью мало взаимодействующей с предметом своим руки: пальцы мои бледны, а ногти выросли излишне длинными желтоватыми рогами, и в скорее праздном замечании этом я безэмоциональной дёрганностью дерзнул чуть влево, сильно оскрипев старым ветхим стулом об плотности тех бездвижных, стонущих пятнами сколов полов: поворот был совершён успешно, однако во время нединамичного приставания я излишне опёрся о находящееся на столе, чем зыбко явилась неровно выложенная довольно рискованным наклоном стопка тетрадей: взглядом я уловил ещё сомнение устремившихся к земле тетрадей, после которого все они попадали на грязные пол и стол своими шелестящими сворачиваниями и согбениями, которые после придётся незаинтересованными связками застывшего событием воздуха и прыгающего в безвременном маслянистом стон ума моего подправить: из стопки плавным незвучием слетел шепотливо стянувшийся под кровать лист с рисунком Марлен; неспеша уложив всё обратно на уже менее пыльный от подобного сметения стол, я робкою произвольностью направился в сторону двери, дабы пройти к ванной и взять щипчики для ногтей, однако: я передумал, действие это после сделанного было бы слишком тяжёлым: я уже достаточно отвлёкся от дела, чтобы продолжать; одубевшим бездельем телом я почти присел обратно, решив всё же утвердительным самооправданием поднять лист с пола; так же неторопливо и скучно подойдя в этой мгле комнатной зудящей, рвущейся ото кожистых воспалений серости, я сопровождением приглушённого коленного хруста присел и с десять секунд оставался в опоре сморщенных локтей на неудобную даже в том кровать: на выдохе оперев грудь к вонючему

полу, я разом обратился к монструозной темноте свернувшихся с пылью волос: почти сразу привыканием глаза мои смогли рассмотреть положение листа, и попыткой не чувствовать накопившуюся грязь я коснулся его, перед этим ощутив шероховатые песчинки некогда отправленной туда ногой еды: вытянув его, я сположил перед носом густые косы тех же сухих, иногда сопровождаемых гадкими мясистыми белыми пучками осреди волос, отряхнул лист от грязи и случайной внимательностью устремился на лист: на нём было нечто наподобие странной разновидности герба в форме капли: посередине стоял украшенный узорами столб, а сзади него можно было разглядеть три круга несимметричной крупной расстановки, и возле кругов этих были иногда звёзды и кружки; неожиданным одумыванием подозревая о потенциальном усовершенствовании того, я направился к потолку и заключил: то будет Тфальра.

Оробевшее угасающим светом окно стягивается тяжёлой плотностью моих надутых, вросших краснотою в туман пустоты глаз: всё чернеет своим бормочущим медленным довлечением хрупкого холодного ребячливого шага: за безмолвием стен я могу ещё представить их ядовитые звуком выкрики и радостный громкий, озадаченный свободой смех: их улыбки честны и свежи: нерассудочная немота этих лучей отупляет и заставляет галлюцинировать, когда гниение же моей благополучной боли отвердевает непробиваемым нефигурным, дрожащим ото неустроенности собственной камнем: возбуждённые длинные поручьи перламутровых отливов мраморных органов: все боли человеческого срастаются долгой петлёй белёсых жил, и одно моё положение тянется светлотой пластиковой кипящей жёсткости: я не знаю, сколько дней назад я придумал Тфальру, но сегодня почти во все уроки мысли о ней авантюрным интересом воспалялись во мне: окромя уже детально проработанного символа и названия я ещё почти ничего не придумал, но мне кажется, что... что этим можно номинировать некую общую идею: категории о ней во мне размыты и не обрели должной чёткости, однако отчего-то мне кажется, что я к чему-то придвигаюсь: оттого в такие моменты я ловлю себя на чуть стыдливой мысли о том, что свет всё же есть и во мне, однако в мгновения эти я устаю: более сегодня я не стану думать о Тфальре.

Как я провожу выходные? чаще по прошествии их я и не могу ответить на этот вопрос: в силу необязательства пробуждения половина воскресенья уходит в условную реабилитацию ото субботы, на которую мне достаётся обыкновенно только три урока, после которых я отдыхаю ото будних дней: кажется, слова эти я использую именно в оправдание, поскольку никакой значительной усталости не чувствую вовсе никогда: рабочие дни ассимилируют меня под свою аморфную вяжущую непостоянность: я лишаюсь привычных предметных ориентиров лишь в непродолжительный единственный выходной, в которыйй всегда занят чем-либо сменяющимся; несмотря на свои должность и образование, я нисколько не могу быть

приравнен к интеллигенции: в год я читаю не более тридцати книг, и притом сама моя работа есть скорее нечто механическое, скорее согласие с ответным на пустоту мою несогласием учеников: скорее деятельность, близкая к конечной форме неспособности содейть; учёба давалась мне с неочевидной неохотой и ещё менее очевидной тяжестью: я не успевал заниматься не только научной и внеучебной деятельностью, но и попросту учиться: думается, именно тогда былая номинация меня талантливый переросла в номинацию степенным, на деле лишь ленивым и малоспособным человеком, который только в далёком подростковом возрасте ещё увлекался чем-то, что некто некогда называл необычным: с трудом и уроном нервам доучившись и всё же сохраняя за собой внешность едва не гениального девственного студента, отчего-то ещё пытающегося впечатлить одноклассников вещью, не стоящей и упоминания, я размяк и ещё пуще поглупел, о крайней мере, я был объектом таких событий, что теперь в качестве субъекта совершенно не удался в собственных глазах, вероятно, тем более строгих, чем выше во мне всегда была фантазия о себе: вечерами я не читаю и ничем не занимаюсь, погружаясь всё более в свои бездельные трусливые страхи; уверен, что страшно не только мне, однако именно я теряю оттого любые деятельностные способности или нечто, что способствовало бы деятельности: итак, читаю и смотрю что-либо я только по воскресеньям, да и то является скорее под конец дня из обредающей текучей скуки, которая и без моей воли выдумала бы что-то предельно простое и динамичное, чем обыкновенно и оказывается книга: читаю я более всего модернизм и литературу абсурда: некогда выбор этот казался сторонним наблюдателям изысканным и сложным, однако только после многих лет таких чтений я понял, что то является одно наиболее естественным и даже чуть архаизированным выбором настоящего современника уже более шестидесяти лет: литературу раннишнего времени мне читать не нравится, да и в существе более сложный историко-культурный контекст создаёт сильнее сдерживающую меня от чтения преграду, которую я преодолевал в студенчестве лишь под угрозами после впечатлённо хвалящих павшее самыми крайними ненавистями знание надзирателей; тем не менее, этого достаточно, чтобы быть учителем литературы и русского языка в школе: вернее, даже несколько излишне, отчего часто меня называют молодым талантом и нерасцветшим цветком будущего прекрасного профессионала: это помогает вводить самодурственные правила внутри обучающего процесса, да скорее противно, ибо я-то: ибо я ведь понимаю, что менее всего подхожу под эту роль; сегодня воскресение.

Влага моих дырявых стен напоминает о болезни отца, которого я не видел уже более полугода: когда ему изменила мама, с тем бросив навсегда нас обоих, он сошёл с ума на теме холода: мама постоянно говорила, что в комнатах, где температурный режим настраивает отец, слишком жарко; шесть лет пьянствуя, он пришёл к выводу, что именно это стало

причиной их развода, и почти весь мой подростковый возраст был проведён в гадких пошлых пьянках и неблагополучных ночных, оставивших только осеревший прелым потом запах на куртке гуляниях: когда же я был дома, приходилось укрываться четырьмя толстыми одеялами, в противном случае отец начинал меня бить и ругать: летом дожди осеменяли наши подгнившие, отрезвлённые перхотой смрадной реальности деревянные полы и оголённые отошедшими, уже обретшими яркий жёлтый оттенок стены, а зимой в снегопады поутру вовсе приходилось расчищать тропинку к выходу; ночёвки вне дома отец ненавидел, оправдывая это всегдавозможным приходом матери и её желанием увидеть нас вместе, что утвердило бы и его хорошее отцовство, однако: с ухода матери я её никогда не видел, не имея за тем и желания искать: я не согревал в себе к ней гнев, но и ничего тёплого не чувствовал: для меня она, кажется, была чем-то, схожим с животным, хотя и не домашним: скорее одомашненным: её безобразные блуды не должны иметь оценки, а приставленность к дому может поощряться: иногда я ловил себя на мысли, будто приход её мог омрачить моё поведение по отношению к ней поведением человека с животным, и потому я предпочитаю скорее избегать подобного случая; несмотря на строгий запрет отца спать не дома, этим я промышлял почти половину свободного времени, чего беспробудно пьющий на пассивный доход с родительской квартиры отец ни разу не заметил; спал я у одноклассников и в аэропорту, куда шёл автобус без кондуктора и где последние два года школьной жизни спать уже было нельзя из моей дурной там славы; эти обстоятельства не сильно меня отягощали, и было в том даже нечто приятное: когда отца посадили за пьяную драку, мне стало легче, да с тем же начались битвы по поводу квартиры: мне написал некий Иван, хотя я почти полностью уверен, что за именем этим скрывалась моя стыдливая мать: по крайней мере, я хочу, чтобы она стыдилась; Иван писал о другом, уже имеющем рукописную оформленность письмо от отца с некоторыми прикреплёнными доказательствами о разрешении получать деньги со сдачи обеих квартир: отец вряд ли оставил бы меня без крыши над головой, но на всё мне было безразлично: оставив ключи в сокрытом за решётчатой дверью к крыше на верхнем этаже мешочке, я разрешил этому Ивану пользоваться квартирами, себе не оставив и дубликата: я более не хотел быть с этим связанным; в тюрьме отца, кажется, насилуют и избивают из-за изначально неудачной постановки себя: оттого он только более одурел и начал иногда бесконтрольно кричать на всех подряд: недавно мне малодостоверно передали, будто из-за частых избиений его пересадили в одиночную камеру, но мне всё чаще мерещится более правдоподобным вариант, где он пытается убить своих сокамерников; уже два года он совершенно невыносим, но я продолжал ходить к нему каждые два месяца: полгода назад он разбил при мне свой лоб и искусственно скрюченным лицом наплевал в образовавшуюся лужу вонючей чёрной крови. Больше я к нему не ходил.

Сизоватые отсветами брюзжащих оконечий улицы разводы на моей стене продолжают испускать еле заметный шёпот страха: неизменность моих привыкших реакций внешне будто составляет иную спокойственной, да внутри тогда мельтешит сухожильными стопами самый сильный, пребывающий приступами останавливающегося сердца, белеющей плены пред ухудшающими взглядины свои глазами и рокотливого звона в ушах ужас: естественным мне есть заикание и дрожащее правое веко, но я не делаю довольно мало, и потому в профессии своей твёрдой тяжестью могу пересиливать редкое заикание, а повторяющиеся раз в три дня продолжительные утренние массажи века почти избавили меня от его дрожи; осевшие привычно оставленным под плотными одеялами потом тела мои уже выскальзывают с кровати, и только довершением я сошёл с неё в два часа дня; такая отработанность, казалось бы, должна была направлять меня к регулярному совершенствованию, однако: видимо, я всегда выгляжу скорее жалко; сегодня я не буду читать: вчерашнее ленивое уныние стало причиной раннего засыпания и бездействия; сегодня я буду проверять тетради и делать конспект урока, бумажную же работу я привык оставлять всегда в школе; шафрановая тусклая спесь облаков сдавливала мягкую слабость человеческого: остаточные трупные комья ложились под преющей тяжестью песков, и те нестрогие волнистые гроздя снова и снова оседали надо искристой покалывающей плёнкой болезненной неправильности: омертвевшие холод деревья проявляли свои нескончаемые костные белёсости, и на искажениях этих виднелись набухшие головы мёртвых людей.

Мутная темнота стола: его хрупкие зернистые пуантели сдёргивались шумной вязью комнаты: дребезжание за ней нарушало мой покой, и безделие моё всё нарастала: сетчатые волокна кровати свисали всё более неприглядными обивняками собственных деревьев, и я помешавшимся взором устремлялся в стонущую белёсыми суставностями одержавшихся чёрных точений огрубевших человеческой плотью швов молний даль: я встаю, ложусь и хожу по этим местам, однако ничто не рождается во мне и ничто с меня не выходит: я снова и снова прерываю собственное и начинаю чуждое, и эта пустоутробная волнительная незаконченность насыщает излишённую света и чистоты иной мги дыроковатых рефреноватостей сосязающих дыр комнату мою: вставая поскрипывающей дрожью неувереннодвигающегося тела, я коснулся взглядом грязной, упавшей некогда последственным забвением будущих наблюдений, окрашенной темноватой, иногда плотной случайностью палочки для ушей и неизвестного согбенного оранжеватого, опылённого черноватым ореолом материала в углу подле двери: продолжавшаяся тягота дёрнувшегося ветра метнула едко отрезвевшей ногой куртку к уронившей её и приподнявшей чуть после зычными осмеянностями ряби предметного руке: иногда я предпочитаю оставлять верхнюю одежду не в общем коридоре: тогда я чаще попросту бросаю её на пол, уже после замечая подтёки слоёв грязи; не закрывая

дверь, я вышел: в осветлённом гроздьями жолтых оттенков коридоре никого не было, хотя вечно нечто будто тряслось под соседской и туалетной дверьми: прогудевшие тупым поскрипыванием шаги по лестнице отбились стыдливо отозвавшимся во мне за вмешательство вовне тугим звуком: бессветие нижнего этажа ударило к непоследовательной случайностью ступающим ногам: никого снова не было: дом этот иногда представлялся мне призраком, в котором лишь редкие тихие отзвуки обозначают принадлежность к нему кого-то ещё: идти же и делать в доме этом нечто мог только я; врезавшись в колющий холод улицы, я выхожу: щемящая теснота комнаты оспевала грубо уходящие в те стороны, еле выпадающие к опадающему в необдуманно открытую свободу щиколоток ботинки: подбивающие снега сщепляли мои горячечные бездействием плоти, и всё тогда смешалось в одно бездействие: я не двигался и не стоял, а одно доверился существованию тех произвольно придвигающихся ног: казалось, я мог закрыть глаза и отдаться волям шага, да остроты двигающихся вихрей выкалывали мою смелость, еле только успевающую накапливаться жирными пузырьками; сбивающийся яркостью интервальных придвижений свет отзвучивался в этой туманной белёсости трезвеющей белизной металлических осдеянностей: светом тем осреди тумана были автоматически раздвигающиеся двери магазина, и спотевшим присутствием я вошёл в то и едкой частотой осматривал находящееся подле: третьим из увиденного стал невысокий, спустошённый на почти все полки стеллаж: положенные правее входа беловатые, несколько осевшие темнотой лёгких теней места скрывали выбивающую уже форменною станостью темноту предмета: показалось мне тогда, что придвижение к тому есть естественное, есть то, от чего не станет недолженствование, и тогда: тогда я подвигался этим неинтенционально осложнённым векторам, и тогда я взял стопку примерно в десять нетолстых небольших книг с мягкими обложками и тем же продолжением само собой разумеющегося устремился к выходу: сверкнувшая среди уже опавшей трепетом нутряного прохлада ложилась скорее свежестью, нежели бременем, и движения мои ускорились и лишились мысли: вернее, мысли всегда присутствовали довольно напряжённой последовательною логикою, однако она ни к чему не вела и ничем не содержалась: это было реакционным оправданием умом моим всего произошедшего, и в дыму этого пепла я коснулся двери дома и вошёл: предо мною возникли счернённые жилистыми мышечными глазами и скуластыми хищными ртами образы, через пару секунд обретшие человеческие облики: это были мои соседи, довольно приятной разговорчивостью обратившиеся ко мне: сегодня пятничный вечер, что вспомнил я уже после и что явственно объясняло их пахучую весёлость: стены дома набухали моей головной болью, и я безмолвно продолжался к лестнице: её окоченелые струпы згивых сухостей робко шершали по моим выдавленным вонючим носкам, и фигурно ступающие за границами ткани ногти едва сгибались касанием оснований ступенек: ещё касающиеся мою холодную,

принявшую влагу снега лёгкую куртку книги тяжелели из неудобства своей нетяжести, и приоткрывание двери одной из рук с наличием того напряжения далось окончательным долгом: не закрывая комнату, я мародёрской небрежностью скинул книги к полу вместе с курткой и устался открытой дверью в окно: существа в темноте ползали и острыми конечностями своими ступали далее, однако в этом ужасе было спокойнее, чем в моём сердце: я не знал, какие книги взял, и заснул лишь к отупевшим мгливой трещиной шипящих и скрипящих пространств трём с утра, на следующий день явно не выспавшись, хотя за все времена безделья я и скопил достаточный запас бессонниц.

Рыжеватые свет тех слоющихся тканей: я опрашиваю у учеников домашнее задание; делаю я это давно дошедшим до вросшего в меня твёрдостью иногда и нежелательной привычки автоматизма фронтальным методом, успевая иногда и задумываться о собственном за нарочито выдуманной нелепой рамкой профессионально выверенной серьёзности: многие ученики неуверенно запинаятся или тянут время, когда то естественно именно для меня: именно я должен унижаться по существу собственного, но не; радужные блёстки свешенных упирающимися к носу моим чешуйками рыб пробиваются сквозь сморщенные темнотою глаза мои, и ядовитый сощур устремляет иные праздности всё ниже... ниже, и: отяжелевшие мешки под глазами нависают голубыми телами повешенных: я стою, и моё слабое надзирательское стояние отчего-то тревожит этих людей, в целом, и могущих догадаться о моей ничтожности; три недели назад я, как признал называть, украл книги: через два дня после условленного кражей я чуть более аккуратной стопкой сложил все те книги в угол, так и не взглянув на титульный лист: об этих книгах я знаю лишь черноту их обложки и худобу, совмещённую с невеликим размером, и то моим неведением только явнее оголяет прочие знания: кража стала серьёзным бременем для моей совести, и главным в жизни теперь стало избавление от этих книг: осложняет всё невозможность обыкновенного их уничтожения: должно мне вернуть эти предметы на место своего первоначального положения, ибо всё стало бы в противлении напрасным; итак, уже три недели я имплицитно мучим стекольным треском естественного нравственного регулятора внутри себя: уже три недели каждое шевеление ума сопровождается гадкой, совершенно неприятной резью совести, от чего отсоединиться я вовсе не имею теперь возможности: красноватая дрожь глаза спесиво ударяется к выдуманному постоянству куда менее стабильного тела, и с тем я продолжаю существовать: я исполняю привычное и подпадаю под недолжное: тревога подобной мелочи осознанием собственной незначительности лишь вставляет меня далее в тот упор, от которого я хотел бы избавиться: постоянное напряжение не даёт мне жить, не даёт прежним блеклым осмыслением продолжать былые бездействия, оказавшиеся теперь столь сладкими своей вязкой бездейтельностью: то, как я жил, явилось именно самым простым образом, и иное жалование на отошедший постоянным

волнением быт теперь кажется глупым и дурным: слезливые спеси ветра ложились на отяжелевшие бурдовым ужасом худые щёки мои, отстранившиеся гулом тела спелелялись светом окружного холода: сейчас, находясь в том напряжении, я был бы способен ради удовлетворения своей совести преминуть в страхе чувствами ближнего, за что после также мог бы чувствовать вину, однако не ту: пока я имею при себе видимый груз, он ложится гораздо более тяжёлым весом: из тупости ли моей то или из такой абсолютной принадлежности к дому, но я мог бы простить себе обиду другого человека за два дня, когда на прощение присутствующей при мне краже необходимо затратить пока неизвестные, сильно превышающие названные временные экстензии: я роговел вонючей болотной гадостью, и на то накладывались мои страх, ужас, волнение, слабость и общий трепет перед миром: я был жертвой, я номинировал себя жертвой, и при этом я же и содеял кажимое ужасным и платил за то собственной душой, её глубокими пенистыми, дерущими славность воздуха порезами, что обрамляли меня снова и снова стекающими маслами шипящих густот: совершенно обособленный от невнутреннего переживания, я не мог не показывать взъерошенную необычность своих душевных состояний: коллеги и даже редкие ученики спрашивали у меня причину моей рассеянности и видимой ослабленности, допытывая о бессонных работах над наукой и писательством, с чем я малоинтересованно соглашался: мало того, что ото невеличины безмолвия сна я не чувствовал никаких дискомфорта или потери, так и рассеянность моя не есть схожее с отсутствием сна: я нахожусь в состоянии, когда иная мысль может коренным образом меня поколебать, исказить цель и действие, и от того; отвердевший на окнах хрупкими нетолстыми лезвиями перламутровый узор оставлял бледно-васильковые блики во мне и в непостоянстве работности класса: я опрашивал ребят и дополнял их ответы, при этом неизменно имея претензию к своему существованию: достоин ли я вовсе жить после этого и есть ли во мне должные способности всё исправить? существо моё рубцевалось и дробилось, и я ждал момента, когда буду способен исправить ошибку.

Прошла ещё одна неделя: за время это всё нарастали во мне сомнения и уверения насчёт того, как же необходимо поступить с книгами: то в сонном бреду я, оказываясь подле оправданий, которые после не мол повторить из их настоящей несодержательности, вновь упавшей нетяготой Ипостаси облегчал себя решением всё выбросить, то поутру был возбуждён снова пробившимся ужасом уколом своей вины и необходимости её искупления: состояние моё начинало мутнеть и обретать самые неприглядные формы: я словно погружался в отвратительный, дрожащий своим непостоянством сон, избавление от которого виделось уже одно умильной фантазией потерянного человека: человека, потерявшегося одним только смешным, едва достойным внимания ближнего событием: я сам уверил себя, будто ситуация эта есть ситуация серьёзная и сложная, будто в ней явились раскрывшиеся,

отягощающие иные форменности моих наглых самобытий смыслы: сон стал ещё хуже, он стал состоять из многих непродолжительных, иногда даже едва связанных отрезков бытового бреда: я перестал править своим телом, хотя могло показаться, будто время, теперь необходимое перед каждым действием для подготовки и избыточного осмысления: я продолжал работать, но работал словно сквозь стекло, что было, кажется, и ранее, однако в совсем иной форме: теперь я только передавал посреднику команду, уже не являясь им: во сне этом мне будто легчало, хотя лишь дурман непонимания помогал забываться: настоящая же тревога выросла уже таким довольным толстым гнойником, что галлюцинации не мешали вовсе: итак, решение наконец вынести книги к магазину оказалось несносимым: может, дело было именно во мне? не в том, как вполне последовательная болезненность во мне приобрела форму самой крайней чуткости к любому раздражителю, могущему выступить и подобной малозначительной вещью? может, я всегда был таков... иногда я думал об этом, но после вновь на что-то отвлекался; много я и брался за них, и подходил к ним, да всё было недостаточно, но теперь: теперь, когда это месячное помешательство стало явной преградой исполнению моих профессиональных задач, когда директор, хотя в визионерском бреде я и плохо его расслышал, предлагал мне отпуск, я решаюсь: через два дня я дерзну вынести книги, и ничто не сможет мне помешать.

Сколько прошло времени и сколько раз я ходил в школу по будильнику без сна? опустевшие шёпотом галлюцинации бегло комкались подле наплевших комнатой узоров, и ноги мои шли по ощущаемому хладом тех теплот стороннего полу, и просвистывающие мимо горящие черепахи говорили мне, что гиганты рушат землю: всё кружилось и искажалось, и самую явную телесную слабость я поднял книги и в одной только толстовке, спустился по скрипящей моими неосмысленными утерями прочного, скользнувшей подо мною тверждением дома того лестнице вниз, и накапливающимся пазлом у общего крупного стола оказались хозяйка и ещё два соседа, имена которых я даже не смог бы сейчас вспомнить: они были приветливы и заинтересованы во мне, и их пусто тянувшийся голос вырывал меня из плетей осложнённого меланхоличной карикатурностью самой излишней серьёзности одиночества: я еле перебирал ногами и ввяженные кислотой отравленных пространств слова, и их вопрошание насчёт цели моего спуска этих книг вниз без куртки, что наблюдением отсутствующего на крючке окончательно меня убедило в существовании случайно и единственно возможно сказанного после: я сказал, что книги эти для всех наших соседей и что оставшиеся они могут раздать близким: моя блаженная ужасом режущей боли улыбка отчего-то внушила им мою крайнюю уверенность насчёт всего из могущего быть утвердившимся в человеке, и, взглянув на обложку, они чуть умиленно улыбнулись и поблагодарили меня: отступая наверх самым потливым постановыванием возможного страдания, я изрезал себя в своём воображении,

и ужаснуть более могло только знание, что одну из книг я в бреду оставил там, где они все лежали: отяжелённым взглядом я посмотрел на неё, онемел трупной пустотой и упал на кровать. Заснуть я не мог всю ночь, к пяти утра в ещё большем бреду бесчувственно взяв книгу и начав её читать. Книгой оказалось карманное издание Нового Завета.

Облезшие алмазными скорлупами остановившегося солнца стены сочились иглами чешуйчатых пятен: внешне облака напоминали креветок, и нисколько не забавная, одно тревожная, чем-то стягивающая мои лица очерневшими дырами повторяющегося сна мысль тяжелела, когда всё, как могло показаться, укатывалось в довольно благополучное, случайно спавшее с обагрившихся вот-вот наступающим надрывом родинок решение. Небеса теснились душной свежестью желтоватых осколков лесистых опухолей: холод смораживал металл с зыбкой бесчувственностью оголяющегося тяжёлыми цепями ветра. Птицы, прежде ударяющиеся об окна, стали обретать ноги и бежать отсюда, поскольку полёт более не обещал спасения: блуждали птицы по высокому холму, и по всему лицу земли рассеялись птицы. Отчего небо было так строго с другими? как небо должно было поступить с ними: обмороженные трепетливой горячью своей вины, они застывали, как иные шли: так же несменно и тихо: так же тихо всё происходило, как ничто продолжало отсутствовать. Дрожь лесных палок кряхтела на телах упавших здесь в бессилии: главное, кажется, идти? ведь нужно идти? с самого детства задачей всего окружающего мира было создать миф о тропе, пролегаемой пред тобой совершенно неизбежными условиями: как мне смириться с тем, что любая деятельность была только отвлечением от боли и страха? как мне продолжать свою жизнь, если жизнь моя невыносима? Ветер усиливался: он резал и рвал моё лицо, однако мои окаменевшие худые щёки оставались прежне несодержательны... человек должен иметь надежду, если всё плохо, однако должен ли он вовсе что-то или кому-то, если... если всё, думается, неплохо: если нет ещё и уже войны и если болезнь не складывает твоих друзей? Тогда остаётся, видимо, жизнь: жизнь... Вот она. Жизнь, она такая... такая давящая... такая тяжёлая, такая безвесая: жизнь подобна небу, что вечно сдавливает и душит тебя, хотя небо столь прилично в себе, что никак тебе и не может прийти в голову обвинять небо. Небо было страшным: смятые выпавшими длинными жирными органами облака шептало мне что-то: кажется, оно впервые желало мне добра...

Утром меня встретил получивший от соседа книгу Коля, самый энергичный и деятельный из живущих в доме: книгой он был обрадован, и оказалось даже, что всю ночь, подобно мне, провёл за её чтением, обретая в прочитанном только что всё новые смыслы: чуть безумные, красные взбухшими капиллярами глаза его требовали хоть какого-то пояснения, и я рассказал о Тфальре: точнее, я сказал, что Тфальра есть ответ на все вопросы и что вечером я смогу показать ему ей. Он был страшно заинтересован, и я решил продолжить эту игру. К

вечеру, придя со школы, я распечатал и заламинировал окончательно доведённый до совершенства символ Тфальры: распечатал я его форматом в тридцать и сорок сантиметров; увидя это, Николай пригласил своим энтузиастом, внушив себе, будто я слишком многое от него скрываю: постепенно мои робкие притчеватые, лишённые настоящего изначального смысла рассказы стали собирать вокруг себя кружок из соседей, и через неделю нормальным явлением стали мои часовые проповеди о Тфальре. В детстве, когда отец много пил, я сам ходил в воскресную школу, да и после, кажется, был недействительно молящимся: теперь же чувство это вернулось окончательно, хотя и отсутствовал иной посредник: для моих соседей Церковь заменял я, когда сам я в том не нуждался; вероятно, способности к риторике помогали мне на протяжении всего обучения и устройства: малосодержательность моих красивых слов была идеальна для говоримого, а внесистемное, на деле обличающее только поверхностное неуверенное знакомство лишь с некоторыми терминами обращение к философии добавляло ту пелену моего могущества, которую я распространял на кружок. Родилась теперь Тфальра, и более бессонницы и галлюцинаций у меня не было.

Она родилась как в безумии: так быстро и неосознанно, так случайно... всё поменялось разом, и менее всего я мыслил и жил именно тем, что оказалось гораздо серьёзнее моих бреда и слабости: нельзя сказать, что я попросту отвлёкся... произошло нечто иное, однако скрип приведших меня в мою комнату после вручения книг ступенек, тот матовый блик на книге, пожелтевшее утром лицо Коли, беглая печать в школе, когда совершенно безосновательная тревога по поводу разоблачения другими учителями вида Тфальры: всё это собралось подобной случайностью, и... я понимал, что я не владею положением: я понимал, что месяц того бреда слишком исказил во мне чувство нормального, и потому не было у меня права создавать нечто значимое, нечто, что позволяет мне одному сформировать в ближнем знание по поводу веры: я не мог начать что-то, поскольку не мог бы ответственно заявить о безопасности рождающегося, не мог бы сказать, что занятие моё... что идея моя соответствует тому, что ещё до затяжных, начавшихся сильно раньше краже книг галлюцинаций я бы назвал адекватным, да... да как... как мне было отказаться от бесед этих... от тех вечерних разговоров, постепенно обустроившихся из застольной импровизацией моих испуганных свободой мыслей? я... если бы Тфальра стала причиной катастрофы, то сейчас... то на данный момент, и близко не стоящий к трагедии, я бы сказал: я невиновен.

Интерюевые трупики слипшихся сосмердящевыми гноями пылящихся тучных сжирнот очеловеченного соповеднения падей оевых же ото все же мые крещены в смерть Его и же святодухные станости спесняются протопросвитеровою афияфоровых подстонносисотеней тел соцветий обрезавшихся ликовин двоеданцевых положенностей гонобобельных разрывов органов тех бурлящих воспалениями экзегезиеовових-де рождённостей старцевого

принадлежа к человеке шири богдохновенных язвлений стемнения комнат тех дрожащих занозиевых орываний теложенных молений левонаправленных пападипаеого жирошино зияний подмышек: виатик сживлённых бодростью хлада живущих-де и-де о-де оего сосувеления веригих надсеквенциевых Авиев еле пробивающимся гроколом машкероего отношения столпничества и ангелов в ликах медуз лицами человека-де и евероего сдовения супротивлений комоньего соевляния стерявшихся зазноб системности внешнерераскрыжного проведения бальзамоего скребка и мафусаилоиевиех бедствий-де пристроением сущностное в крепости тяжести крещие пыртов волхвов зовлегых вылений тёплой баньки Смердящей: и ферапонтоого респонсорий я стал в сосилении Гофолии в лиевых снорождениях ритуалов принявшего сдызахновения Приветствия Павла от принятия должного отонедолженным подпольями человека Гудящего, и с авинадавиевых трудов безо уныго костетих вашашаи однажднённого блажества нетягого в лозьях свеществений блеска Купола Маттафия и Тримифунтского в рассказе толками ограждающегося совелениянностями рукоотрывания и ликолобызания снарушения клятвенного и стоящего недвижностью гласа зарезанного барана перламутровой сизины состояния рвотной дрожи души тоого сосущества: срывались кожистые капилляры моих оврученных гатьбою вопля смерти уверенного рождения езекиего змирны одвижения продолжающих овеленность случайности невалиации острых, хлопаньем провникающих в шею медий того мороего послания к ведеянным Марфой вовине ремней стонов ста бессмертных убогостью праздника своего Ханания рубцов обавлениевых и зоильственного Будока спасённого овец огде Антиохийского, Егесиппа, Сардийского оде декиции цикла несамобытийственного доде формы явленности томизмоего сушильни совести-говедиего лода Гирсамаого сложения исконных явлений той жизни означенных Николаем и Владленовым номинем-го вечерницевых схизмовых космосов раскования человека резью глубокой, обрекающей соломением перцев крови рабства тоого оборения изнумения отравленных тусклот способности содеять и в махлоновских казий Татета трещины святоого непринадлежным творением ужасного с реевых годий гриеперливых потифаровых збуждений согбения каженницевых родиник ствердений хрящиевых вразей-де юродиевых застываний должновения аффективных смертей бонмотистоеги младенцев премещений Авраамовых елизаветовых навещаний кропьеого сребриста кругов узоров одноплоскостных в агариего пенязях ощен попадания содесного громаждения рапсадающего иль врозединого формою означенного облачения Вильбиргия славы подвенстого в резах античности сонма пятипутья Муратория августовых Онанов привежения помещно-де площади плебериановых глаз поодаль и чуть на первопрестолавенировых хороших самоназванных пастухов:

Кажется, с появлением Тфальры я словно переродился: исходящий от кружка свет не был светом осреди мучительно тянущейся мги бездеятельности: напротив, с Тфальрой мне

стало лучше: условленное моим возвращением было долгожданными, сопровождаемыми действительными значительными успехами радостями коллег тепло принято, особенных проблем хоть с каким-нибудь из аспектов своего здоровья я не испытывал, однако особенные блики человеческой доброты одно доходили от меня, и шли они ото Тфальры: я христианин, и потому не могу горделиво довольствоваться положением главы кружка: когда Николай начинает несколько выходить за границы приличного в восхвалении меня, я подсаю и прошу его снова упомянуть, что я есть только канал, через который члены кружка, последнее время своевольно называющие себя тфальристами, узнают об истине: итак, я не могу и не должен бахвальствоваться своим положением, и остаётся мне только видеть прекрасное в тфальристах: люди эти, прежде, что даже страшно и тяжело думать теперь, некогда вызывавшие во мне душевное напряжение и, да не будет грех этот не искуплён мною, даже лёгкую отсутствующую неприязнь, ноне есть моя единственная прекрасная семья: все они стремятся к правде, стремятся к обретению Бога, чему способствуют мои личные богословские изыскания: уже полгода разумея Писание, я нахожу в имышлениях богословов некоторую, что будет и самой своей сказательностью грубо, да я решаюсь на ту грубость ради применения Чуда к Современности, некорректность, неточность, причиной которой есть не их неучённость или та, что я и языком своим скверным не могу произнести, а скажение времени: мысли их были применимы одно к тому времени, когда контексты изменились: отталкиваюсь я в своих богословских суждениях сразу от нескольких, как раз и занятых своими доказательствами теорем: современное Государство есть скорее неблагодать, чем закон; Чудо в этап неисторической справедливости невозможно; Церковь, ставшая подвержением Государства, затруднила приспособление Метафоры к Реальности, и потому ряд Ритуалов должны быть подвергнуты дополнительному осмыслению и уточнению; Слово есть изменяемое, и означающее не есть означаемое; православный, как и католик в православной, должен мочь молиться в католической Церкви; анафема невозможна, в таинстве Евхаристии недопустимо использование алтарного алкоголя; еретичество как явление есть жертва Государства; допустим среди всех постов только вечный пост, где человек навсегда отказывается от приносящей вкусовое удовольствие вне неизобилия еды; молитвой является всё, что содержит обращение к Богу: так, молитвой может являться и вся жизнь, субъект которой верует в Господа: так, обыкновенная молитва является необязательным и излишним.

Среди нынешних тфальристов нет ни одного человека, что ранее был воцерковлённым верующим: многие, более половины, были крещены, однако самой последней исповедью была исповедь тфальристки Маши, когда ей было ещё девять лет: тогда она была оставлена на лето в деревне, откуда её с собой водила в церковь бабушка; вероятно, присутствуй на вечерах Тфальры некогда и ноне воцерковленные, меня бы считали чуть не за преступника: многое из

только сказанного и уже доказанного здесь для приличного православного если не еретический вздор, то умилительное деистическое своеолие, однако теперь мы смотрим на всё с великой серьёзностью: постепенно время вечеров увеличивалось: начиная с кухонных малосерьёзных притчеватых разговоров, мы дошли до вполне научного вовлечённого диспута: отдельным тфальристам я давал задание подготовить доклад по историко-культурному контексту, сводкам переводов и семиотическим тонкостям: иногда даже отдельным энтузиастам, кто не мог справиться с задачей доклада, хотя справиться с ним до сих пор прилично так никто и не смог, кроме Николая, я задавал учить наизусть или на относительно свободный пересказ важнейшие отрывки из Писания; конечно, высокого уровня тфальристы самостоятельно достичь не могут: почти все из них есть люди бедные, малоспособные и с плохой памятью: во всём коммунальном доме я был единственным человеком с высшим образованием; люди эти были часто людьми зависимыми и больными. Из четырнадцати тфальристов только Николай мог выполнить раз в три попытки задание удачно, и всегда попытки его рассматривались остальными как чудо: происходил Николай из беднейшей местной семьи, и то лишь отличало его от меня, что в тюрьме была его мать, а не отец: отца он так же не видел с раннего детства; итак, Николай, невысокий рябой, даже выдающий в своей хромоватой походке телесную слабость, глупый светловолосый голубоглазый мужчина, являл чрезвычайно необычные для человека такого рода терпение и самоотдачу в наших занятиях: ещё с моей позорной раздачи книг Писания он ощутил нечто особенное во мне, и именно он в некоторой степени стал причиной появления Тфальры: не займись я тем днём углублением в дизайнерские тонкости символа Тфальры, едва бы продолжил всё это так: порой я вспоминаю об этом: порой я вижу перед собой его лицо: лицо чистое, доброе и беззаботное, и тогда что-то во мне противится его энтузиазму: я знаю, что не являюсь хорошим человеком, что отчего-то мне свойственно даже технократическое снобистское стремление разделить общество на управляемые и обязательно чётко ограниченные в себе подгруппы, однако даже с этим знанием: даже так, зная, отчего Николай может быть мне неприятен, мне тяжело, вероятно, признать в себе крайнюю жестокость к нему: признать, что противнее всего для меня именно любовь, направленная ко мне: любовь, которой я никогда не получал и не видел: именно безвозмездный восторг исправившегося человека мне казался отвратительнее иной человекоподобной скуки: когда я чувствовал, что на кружке, который уже окончательно стал единолично моим творением, некто отвлекается или шутит, я расслаблялся: подобно уроку, мне отчего-то было приятнее почувствовать наконец приравнивающий меня с учеником бунт, чем услышать очередной безупречно выученный ответ отличника. Жители дома, каждый из которых стал вполне убеждёнными соделителем моих богословских идей, не имели тонкости ума и веры, чтобы обнаружить в сухо названных таковыми теоремах

страшного, ужасного и необычайно дерзновенного, которое я хотел объяснить: они почти слепо верили мне, жадно впитывали каждое неизвестное слово великим доверием, и появлялось иногда чувство, будто занимаюсь богословием здесь один я, умалишённо уверовавший лектор, ученики которого не имеют таланта продолжить и понять дело: мысли эти пугающе отравляли меня: часто посещали меня идеи трудиться не так, как я тружусь умом сейчас, часто я подумывал специально допустить неточность или двойственность, однако рассудком порешил многое: слишком многое; оставалось дать этому номинации, дать название моим идеям, что ни в коем случае, несмотря на присутствие авторства, не содержали и незначительнейшую долю гордыни; верили мне в том числе и из наблюдения моих аскез: таковые они, как выяснилось, видели и до появления Тфальры: мои болезненные эпизоды виделись им практикой, и то я оспаривать не стал, также ничего и не подтверждая, в сердцах наблюдая всё же некую нечестность, как и нечестность исповеди; я искренне верю, что Тфальра приведёт к благу этих людей, однако оно прервётся, если в исповеди я упомяну свои методы: упомяну, что неизбежная учительская нечестность становилась не раз причиной генерализаций и интеллектуального излишка в границах рассуждений кружка: озвучь я это, меня бы, думается, выгнали именно те люди, что до сих пор верят едва ли не в мою святость; аскезы мои не включали серьёзных отказов: вечный пост структурно состоял из довольно хорошо проработанных мною диет: постепенно уходили из рациона мясо и рыба, после человек должен был избавиться от приправ и сладкого; в заключительной же форме вечного поста обязателен приём витаминов в наиболее безвредной и естественной форме: рыбу я не ел почти никогда, а от мяса множество раз отказывался скорее не по своей воле: так, бобы и гречневая каша есть основа вечного поста: обязательны овощи и фрукты, сладость фруктов должна подавляться неуместным употреблением наподобие употребления с гречкой; аскетичным во мне все видели и отказ от иных опийственных удовольствий: меня то, общем, никогда и не увлекало; спал я довольно и иногда излишне, даже страдая известным многоспаньем, за что наказывал себя после продолжительностью учений: именно оно теперь занимало почти всё моё время: ноутбук, подаренный мне тфальристами, уже окупил себя: ежедневно около десяти часов я провожу за своими исследованиями, так же усердно работая и проводя вечера: окрасневшие рябоватым жиром глаза теперь всегда напряжены, спина моя зудит, а голова побаливает, но то я даже не отношу к проблемам со здоровьем: это сходно скорее с мозолями над ключицами от вериг: оно больно и вредно, но продолжает напоминать о твоих занятиях, которые, стоит учесть, за все эти полгода ни разу не были в тягость: не говоря о благости и молитве деянного, я как человек не испытал ещё натурального недомогания или усталости: всё это вродилось во мне величайшим содеянным удовольствием и даже манией, которую я контролирую вечерами; поскольку молитвой может быть любое из обращённого к

Богу, наибольшим из обращающегося является страдание: самым простым и полезным страданием я решил изнурительные физические упражнения: вместе с тфальристами мы регулярно проводим тяжёлые двухчасовые тренировки без перерывов, к которым готовы немногие: есть среди соседей и болезненные, и пожилые люди, и потому насильное упражнение скорее запрещено, хотя начать обязаны все, дабы сохранить и воздать помысел; именно спорт подкрепляет мои спину и ум: со всем мне стало гораздо проще и лучше, и только редко: очень редко, но иногда: иногда меня немного пугает Николай, широко окрывшимися тараканьими глазками, кажется, укалывающий в моих идеях недолжный страшный радикализм, и эта деятельностная подвижность ему только приятна: он был бы рад даже иным чуть нечесьным, стремящимся всё же к конечному добру образом обратить ближнего в тфальристы, и то я предупредил заранее: если он начнёт дело толка уверения или хуже без моего дозволения, то более не будет принадлежать Тфальре, нашему скромному философскому кружку.

Отчего я решил, будто волен самостоятельно судить веру и знания богословов? первыми положениями своими я нисколько тому не противоречил: мы соблюдали каждый ритуал поодиночке: групповые походы в церковь такими толпами могли бы быть подозрительными, и всегда мы боялись обнародования нашего кружка: лишь после, в объединении наших новых знаний, мы стали опасаться Церкви как способного очернить наши действия еретическим знаменем; очень долго, в сердцах имея вопросы к обряду, я поклонялся Господу и соответствовал говоримому не Господом: всё честнее понимая, что бедный дьячок благонравнее и вернее архиерея, я стал находить порождаемое способным к греху, и в способности этой обнаружено было самодурственное творение: то проходило чрез историю и нуждалось в добавлении теперь руководящего формой слова контекста, да я исследовал это: я исследовал символ и существо, в дрожащем страхе предлагая эти теоремы: в ужасном, в то же время только подтверждающем постоянство моего стабильного приятственного состояния сотрясении души я изучал, изнывал и мыслил, и всё более я приходил к правде моих рассуждений, что часто отходили от тупой прямоты формулировки: я всегда готов был ввести должные уточнения: идеи мои были уже не догадками, но утверждениями, опровержения которым я уже не видел; копоть отданных нищим с симоновского столпа моего никогда не запревала неправдой: я шёл к истине, всё пытался установить считаемое нужным и полезным, когда аввакумовская яма твердела моей уверенностью: я прекрасно знал о стонущем рябыми искрами противоречии с Церковью, да занимаемое нами называлось Тфальрой: формально тфальристы есть только предлагающие, а не утверждающие, и потому покамест допустимы нам подобные идеи, и в пугающем, ставшем в случае воплощения себя нескончаемым кошмаром мне я готов даже признать Тфальру только светским мыслительским сообществом,

рассуждающим о вере в недопустимой свободе; сперва антураж мой ото действий всех был необъятным: думается, избавление от прежних болезней освободило во мне потенциал, мощь которого склонялась к грубости своей исключительности: сперва я будто ни в чём, удовлетворяясь тупым пришествием своей значительности, не сомневался: целые четырнадцать души обретали Бога благодаря моему просвещению: все они нуждались в Нём, и я исполнял важнейшую из представленных роль: режущий, сходящий с моих невымытых волосатых подмышек смрад иногда отвлекал меня, да не более моргания: ежечасная гимнастика ранним утром и вечером помогала продолжать сидеть в прежних обстоятельствах: я всё оптимизировал и всё сравнивал с долженствующим: ноне зародившееся должно было расцветать и почти без моего вмешательства, и...

Пять часов утра: уже час я бодрствую, успев выполнить получасовую тренировку и без умывания столько же осидев за ноутбуком: всегда начинаю я с чтения Писания: час каждого дня обязан начинаться с этого: перечитываниями Его я робко устремлялся к точному заучиванию, и тому всегда был несказанно рад; несмотря на уделение предельного из возможного времени изучением, человеку как созданию, обретшему стыд, привычны непостоянство, неусидчивость и праздность: несмотря на противление этому, ум мой порой помутняется, и ради большей точности получаемого знания я делаю одномоментные перерывы, в которые обязательно исчисляемые вслух двадцать секунд легко массирую глаза, оставшееся время проводя за лежанием на спине на полу: то помогает и без гимнастик несколько упрочить проблемности моих ветхих человеческих телес; ригоричная холодность моего ума нацелена на цельную неостановимость запланированного: я имел... я имею план: план... план я исполняю: случайно обрета спасение своего ума, я делаю: я обязан делать: я... я не имею права остановиться: эти люди любят меня... план... план; Теогер удерживает дождь.

Грифельные света тех взбухших рождённостей ужасов вскрывались длинными узорчатыми ножками стола, и тусклою костию проникающее в давление тумбочных направленных щелчков: постоянство моего занятия сближается с колючей природностью падающих телесами трупными органов: я медленно, на деле обворачивающую взбуктенившейся дрожью душевной читаю и иногда записываю отрывки в чёрный прочный, обыкновенно сомкнутый белёсостью уплотнения еле сдвигающейся к центру кожи блокнот: порой я поглаживаю случайным манером отросшую за полгода бороду: мои светлые каштановые волосы только изредка намекали на рыжеватость бороды: рассчётливо сбрасываемые излишности еле оранжеватых, видимых лишь в хорошем, крайне редком в моих положенностях, являющем себя одно в школьном общем туалете освещении волосков ранее меня не означали: теперь же борода моя обрела явный яркий красный, иногда преливающийся радужными светлыми бликами цвет, и: шевелящая иногда ворот моей рубашки, она несколько

не повлияла на мой быт: уход за нею во мне довольно скромен, и коллеги, кажется, только поддерживают меня в том: современность именно моей страны поддерживает любую традицию, будь то даже заблуждение или обыкновенная неухоженность; уверенно щёлкнувшая по беспроводной, не требующей, впрочем, и близко такого усилия чёрной мышке рука моя чуть прижалась к боку, дабы обратиться к блокноту, но на первом этажи послышались громкий раскатистый хлопок и стремительно направляющиеся, видимо, ко мне шаги: ситуация эта не была обыденной, однако обращались ко мне соседи почти всегда, и оттого нахождение моё здесь всегда было подвергнуто готовности ответить или пояснить, да удивительного звона шум ударившей стену мою хрупкой двери замедленными тяжбами проникающей сзади вошедших высоких крепких, однообразно одетых в чёрные спортивные наряды мужчин и Николая бронзы облачил в середине взгляда моего детский растерзанный трупик: шарлаховые отсветы ещё свежих рваней будто огрызанных кем-то небольших, подобных игрушечным, шлёпающих тяжёлыми рубиновыми и чёрными сгустками оставшихся тошнотным торчаньем органов пребивались мареновыми остывшими пятнами ссохшей, начинающей облупляться желтоватыми лимфами ороговевших твёрдостей крови: морковная из осевшей тонкой липкой власти ониксовой руды кожа редко пробивалась сквозь выпирающие маслянистые клыки желтоватых мелких костей: запрокинутая порванной почти полностью, держащей её лишь ветхой случайной скреплённостью шеей голова оголяла изуродованный, обнажающий самое недолжное употребление оставшихся мякишей вонючего, обелевшего рельефными плотными, крепко прикреплёнными лужицами мяса череп лица: глаза вытекли и открывали только черноту выблёвывающих сальные пузыри дыр: рот был изорван и обнажал давящую разобранную, выпирающую книзу тонким, подобным чем-то и на прохудившийся умиранием цветок винтом языком глубину: густые светлые волосы его беспорядочно слипались с вырванным мясом: ребёнку было не более шести лет.

Собака бежит: бежит поверх гудящего, стреляющего в её глаза шума, и шум тот продолжает исходить из неё: из вида и цвета её. Городские собаки пугали меня: нельзя сказать, что иные во мне воспаляли другие чувства, однако жил я в городе, и потому знал только их. Шум прекращался, но что-то давало знать об их присутствии: что-то позволяло ещё догадаться о них, и осталось... осталось только видеть обглоданного ими ребёнка: кости его меж собой проявляли чёрные худые дыры, и свисающие плети мяса блестели в безвоздушном холоде моей комнаты. Как выглядели собаки? вероятно, собаки всегда являлись чем-то другим: не домашние собаки, приветливые, добрые, обыкновенно, общем, дружелюбные: тех я к собакам не отношу, я говорю именно про... человек не будет оголять в себе свою окончательность, выходящую чаще в обычных психологических особенностях, неизлечимых внутренних правилах поведения: ты можешь говорить с человеком о профессии, и тогда ничто в нём не

обнажит уродство небрежности к ближнему, желание воспользоваться добротой и дать себе право восхвалять себя в чужом подвиге по отношению к тебе; если ты не слышишь собачий лай, это не значит, что собак нет рядом.

Их глаза человечесны, хотя не имеют привычных век: они смотрят подолгу: кажется иногда, будто взгляд их бесконечен, однако это внушили тебе собаки: рвы: их можно назвать рвами: их, этих существ. Рвы умнее домашних собак и опаснее: они владеют способностями, которые могут стать причиной твоей гибели, и нам даже тяжело понять, как вообще возможно совершать подобные вещи: однако рвы отличаются от людей, а среди людей есть женщины, уводящие мужчину из семьи и ломающие жизнь его детям и жене: рвы же сильно, они сильно хуже людей. Рвы имеют странные редкие, похожие даже на забор зубы, близкие скорее к неуместным нефункциональным роговым приростам, и совершенно неясно, для того ли они, чтобы напугать жертву, или для того, чтобы схватить её. Если жертву необходимо схватить ими, то, учитывая их симметричную равномерную отдалённость друг от друга, следует выделить, что охотятся рвы только на детей и небольших животных. Они не жуют: нам известно, что рвы именно глотают своей гигантской неповоротливой шеей, заставляющей перемещаться это существо для осмотра потенциальных владений, хотя... мы не знаем точно, останавливаются ли на одном месте. Это нам неизвестно. Когда я смотрел в окно, один из них встал на задние лапы и начал показывать передними треугольник. В тот день мне плохо спалось. Когда я засыпал, обезьяна в темноте смотрела на меня и ржала конскими воплями: отчего они? отчего животные? создания, что есть душа во плоти, душа во крови смертной: животное не становится, но является. Если есть человек, будет и животное: так я тогда решил. Потеря сна есть вещь нежелательная и иногда страшная в подобных требовательных обстоятельствах, но...

Когда я проснулся? Николай смотрел на меня. Чащи с окон твердели пластилиновыми зернистыми порами: всё темнело в своих небольших, скатывающихся в новые, обриваемые тугими пещерками складок слои уголках: я смотрел на солнце, но то словно хотело моего сна. Солнце улыбалось мне взбухшими растяжками своих лучей: солнце серело, зеленело и краснело, словно... словно оно проверяло: словно хоть небольшое вкрадчивое внимание не мешало всему и не путало всё: солнце проверяло, могу ли я делать и могу ли ещё не только слышать, но реагировать. Реагировать на то я не стал. Я наступил отупевшими морозными камнями ногами на скрипнувший пол и пошёл растягивать коврик: я раскатал его, умял еле отпавшие от пола уголки и включил интервальный таймер: тишина ума моего пробивалась шипением боли: можно ли назвать изнурительное физическое упражнение страданием? я знаю в том нечто общее, и... я поднимал уже взбухшие венами бёдра и напрягал мышцы разрезанного глубокими устьями живота: мышцы мои секлись скорее худобою и отсутствием

приличной жировой прослойки, однако я продолжал чувствовать в своём теле силу: сила была мне приятна: не утвердивши это окончательно, я радовался тому, что сильнее рвов: рвов, с которыми, вероятно, я никогда не встречу.

Каждое движение давалось уже с заметной болью, однако я устремлялся в грохочущую безмолвием стену: боль не притихла, но я более её не видел. Когда я проснулся?

Случай этот обрёл общественную огласку, но, несмотря на все к тому устремления извне, о Тфальре никто не узнал. В этот день Николай вёл ко мне трёх человек, о чём я не знал: Дмитрий, мастер спорта международного класса по боксу, тридцатисемилетний тренер и только недавно вышедший из профессионального спорта боксёр, человек ростом почти в два метра и весом, как сказал Николай, видимо, желая меня впечатлить, в сто тридцать килограммов, имел тяжёлое большое, покрытое многочисленными, могущими легко напугать неизвестного красными и уже потерявшими или не имевшими его никогда цвет шрамами лицо и страшно разбитые кулаки: был он, безусловно, самым большим и сильным из троих, однако двое его учеников также имели почти совпадающий у обоих до сантиметров рост в сто девяносто и звания мастеров спорта: они были ещё юны и трудились на свою карьеру; людей этих привёл Николай, дабы они стали тфальристами: он сказал, что нам нужны сильные люди, однако едва ли он понял обнаруживаемую мною в иных силу должным образом: отказать я уже не мог, учитывая и то, что сокрытием существования Тфальры мужчины уже стали косвенно её частью. В тот день в близлежащей лесном парке бездомные собаки покусали беременную женщину и сгрызли гуляющего вместе с ней ребёнка, труп которого зачем-то притащили к коврику нашего дома: мужчины и Николай не знали, что можно было сделать, и моя нерастерянность, кажется, смогла в чём-то убедить Дмитрия. На деле же свершил я почти всё самое нежелательное, не помолившись за убитого и не предав тело его земле: чтобы не разваливать ребёнка, мы поместили его в обыкновенный мусорный пакет, отдав после уже Государству: я знаю: я знаю, что должен был сам похоронить: я знаю это, и о том, кажется, и говорила мне собака; не помолившись, я будто противоречил себе, а не попросту забыл о правде, ибо следовал своим же идеям: противоречие и слёзы мои видели мужчины, после, несмотря на изначальный скепсис, всерьёз согласившиеся посетить наш вечер. Пришёл тогда один Дмитрий, во всех вселяя страх и часть тфальристов раздражая едко пробиваемым в непослушных вставках его недоверием, однако он продолжал приходить, на четвёртый раз придя уже с теми двумя учениками: на седьмой и девятые разы учеников приходило всё более, и Дмитрий уже не позволял никому насмехаться над сказываемым мною: с тем я стал увереннее и позволял иногда себе прежнюю притчеватость, от чего чуть позже снова избавился; скоро гостиная уже не вмещала всех, и некоторые полагались на ступени ведущей ко мне лестницы: удивительно, но эти современные, позволяющие себе избиения друг друга

дети были моими самыми умными и послушными учениками: учениками, каких я, будучи учителем, не знал: Дмитрий оказался умнейшим из тфальристов, он даже сам сформулировал оправдание боксу как той же духовной практике, что и физкультура, однако позволенной профессиональной выдержкой и силой молодости: это я принял; через два месяца пришедших от Дмитрия стали называть дмитриевцами: этих людей соседи вскоре полюбили и приняли, а самих же моих соседей уважали как приближённых ко мне. Тфальра росла.

Пустота опревших трудом мгновений: каждая минута жизни моей есть направление к тому пределу, что стал не целью, но средством, нынешним напряжённым состоянием: я действительно не отвлекался ни на пустоутробные ветреные отвлечения, ни на совершенный тою же несущественностью отдых; проснувшись в пять утра, раньше я мог с семь часов, нарекая оправдывающий ту бездеятельность голос свой неловкой, проявляющей настоящесть неспособности тогдашнего дела дрожью, вовсе ничем не заниматься: разумеется, тревога наступающего к тебе тяжестью иной продолжительности сна имела собственное влияние, да более приходилось терять объект и размываться ослабшим в безделье умом: труд требовал определённого воздействия, и пуще упрощающим то условием могли быть лишь стимуляторы; оправдывая болезнью лень, я приходил к самым своим глупым и несодержательным состояниям: вечная погоня за чем-то, и иллюзорна тут была именно необходимость бега за чем-то, поиск чёткой цели, когда я не видел души: вечное терпение белой и чёрной мышей и довольство спадающим с листьев мёдом превратили меня в сильнее иного унижающее своё существо создание: стоит сказать, что ранее я как человек не смог состояться: решив медленно дойти до автобуса, я наблюдал в трёх метрах от себя его отъезд: смалчивая знание за высотой собственной гордыни, я терял хоть то немоющее, что мог обрести: критикуя за неисследованием и непродукцией, я представлял равного шути, ибо возведением целого же учения не ставил в свою задачу; вероятно, облик мой преждний был умытей и обманчиво красивей, однако одно мне было известно, сколь мой нонешний смердящий, обитый тяжёлыми копнами влас, открывающий дверь в коридор лишь при задыхании, обьятый тяжеловымываемыми графитовыми пятнами вид приятнее вида прежного, даже излишне обмытого и благо пахнущего; пока я не начинаю задыхаться, я не открываю дверь в коридор: даже тренировки мои проходят в головокружительном жаре, ибо излишен хлад при способности стерпеть духоту гудящей вывернутыми своими сребристыми сковами жирных влас металлических отдалений цепями комнаты: иногда бегло прерывающаяся ненастоящими, сложенными скорее предождиданиями сквози теней тех опадающихся ставостей согбенного уволения осязания внови обособленного неизученностью потенций отрывистых одно заблуждённым неволением угловатых спиц ноутбука темнота: медленно прибывающаяся отрождением высланной бредовостью несоотношения

субъектного с объявленным тою же субъектностью объектным яркость к тихой ложбою скрипящик сухому горлу шипела сном потерянного кошмара: верное одиночество творящего: то неясное, облаенное воспалением приятства напряжение того и оно: в онном всё спрягается сонмами неуделения продолжения овронных сокрипываний кожистых принадлежностей возведённостей окрашенных цветовостью материалов тождеств того повления излишности пороста огравленных великанами столпов небес; напрягшиеся вымученным отдаленностью технического кистями помаенного личностями того зияния отравляющего изродованными кольями волений правления желтоватых, сливающих свои смрадные семена булькающим притвором ласкающих кукольною неволею человеческого ото седения плотей приставляющихся глубио сонесения резин гибкостей того непрерывного шелеста соприсутствия тожде обыкновенно убранного властью ношнего и ослаблением чувства одной и возможности самобытия вне страдания над понятием унынного вношнего с теми непрекращающимися зыбкими рожденьями темноты и жиров людских нечистот ветров костей глазами моими пуповин органов тоски крыл ожиданий сердцем сна корпений металла ветровый прелостью облака крюков: жир сдирается с человека, и оставшиеся тела сжигаются резью дробящихся воплей; слезший кожей гигантский, облазивший свои скатившиеся, совершенно круглые, безызыянную аlostью уставленные в тебя слепотою перламутровых зрачков глаза, вырванный опухшим гноем человеческим, окрашенным рудою того носом клюв, имеющий сочный красный, прихлупывающий неустанно пристальным гляденьем человеческий рот цыплёнок.

Оробевшие теснотами улиц, спаянные едкой искусственностью школьного, потягивающегося широтами неуспокоенных, поведующихся ветряными прахами привычного, излишно синтетического прочного безвкусного запаха импульсов света окна освечивают снова отравительные, приставляющиеся ко человеку грилеперливыми оставленными сверениями однажды вдавленного и навек искажённого свободы: ослабевшие силой руки мои положатся отhone особенно крепко и чётко: бывшие неуверенные шероховатости допущений стронного есть сейчас одно опаренный прошлостью опыт: более я не колеблюсь и не совершаю ошибок, и причинности того совершаются не ото гордыни моей или нарочитого характера: труд школьного учителя более не кажется мне тяжёлым, хотя то и не становится причиной позабыть все особенности моих обязательств: свежесть школьного оприсутствия, польза детям и возможность нечто дать им содержат в себе достаточные поводы не видеть в ремесле данном одни лишь внеутробные слабости корпоративной вымученности: сделав подобное решение, я всего за пару дней труда изнурительного эквивалента своих обыкновенных упражнений по изучению богословских текстов завершил своё профессиональное знание всем, чем только был способен его завершить: уроки мои теперь часто снимают и

выкладывают как примеры крайнего учительского гения, мой быт всё более нагромождают формальными обязанностями и возможностями проявить себя, а ученики уже вне былой выборки поголовною заинтересованностью после уроков обращаются ко мне с самыми различными вещами; стою я ноне гораздо устойчивее, хотя и собственный интерес же в именном деле ото меня отсутствует: я выполняю всё машинально и с дерзновенною свободой, что сейчас выходит за всякие границы и позволяет мне порой действовать самой крайнею своевольностью: теперь я не беру на проверку тетради и владею правом изучать вовсе иные разделы, то, что сам считаю нужным, и в случае претензии школа за меня заступится, после пояснив мою важность и продуктивность выбранных мною методов; еле проглядываемый налив жёлтого пятна на раме окна, подле которого что или ото чего я рассматривал прежде, снова неизменно моею внимательностью обретает важность: ребята дописывают работу, которую должны дописать дома, на следующем уроке рассказав основные тезисы и прочитав избранный отрывок: кто-то надеется успеть дописать всё сейчас, кто-то вовсе не имеет желания написать что-либо или написать то во время урока, однако я ни за кем не слежу, позволяя желающим, стонущим ото тех вожделений в том сидеть в телефоне или отсыпаться; проходящимся в глухих стенах довлеющей теснотами рокотливого орозовевшего избыточного ошатывания растающих светящимися сребристыми приверениями надлежностей говений тоих чистонаправленных, оставленных пузатыми приростами владениепочения гладей темноочерт школы поместным звоном: шоркающие гудящие постанывания ударяющейся об пол и парты обуви начинают смешиваться с ещё неуверенно начинающими свербеть ото прежней тишины в несиправно навязанных тяжестью школьных несовершенств духах голосами, и боле чуть позже прозвучавшее ото меня уже формальною оставленностью освобождение всех не имело преждних властей и сделений того человеческого принадежия: несмотря на кажущуюся в том совершенствами школьного поведенческого штампа, ученики так торопятся собрать рюкзаки, дабы подойти обратиться ко мне: готовность к выходу, видимо, стала обязательнопринятым ритуалом или одно наиболее последовательным внутренним правилом; едва заметно поворачиваясь, я уже вижу излишне радостно улыбающихся, чуть волнующихся в заранее заготовленной словесною точностью реплике ребят: легко улыбнувшись, я слушаю скорее изначально лишённое необходимости разрешения к озвучиванию того обращение: неловкостью одно решённости содеять то многие почти театральным жестом приводят вопрошание своё к средству рассказать о своих переживаниях и новом, кто-то решается выделить свой ум вопросом специального толка, а иные лёгкой фамильярностью хвалят меня и разрешают себе недолжное: удивительно, как особенность эта явилась одинаковою частотою почти во всех моих классах: вероятно, обо мне говорят много и многие, и оттого некоторые даже передают вопросы детей из других классов;

отвечаемое и слышимое я едва ли запоминаю: давно обучившись получать ответ на обращение уже после первых пары слов, за тем одно слушая в свои удовольствие и праздность, я рассматриваю то некоторую исповедальную практикою: им становится лучше, и потому я осмелел делать вид серьёзного отношения к предмету во время всех вопросов: порой меня спрашивают очевидно лишнее, и тогда я попросту уваливаю от ответа, в редких случаях на благо дерзновенности ученика озвучивая откровенную неправду, хотя животными-де особенностями своими, несмотря на все практики, я порой испытываю гнев или честную неприязнь к ребёнку. Надя всегда выделялась, и далеко не всегда её особенности вписывались к имеющим формульный ответ моим репликам: её заинтересованность во мне напрягала и раздражала: я знал, что она хотела бы услышать и какие варианты ответов проговаривала про себя, однако всегда я отвечал ей холодной рассудочностью: так, как она единственно была готова услышать мой ответ, гораздо более должного осмеляя свои способности; сегодня она последняя: то не редкость, и потому ко мгновению этому я отдельною серьёзностью подготовился: выходя нарочито уверенно, она сбивающимся голосом начала привычную тираду: думается, именно внутренний стержень её вежливости еще довлеет в такие мгновения, и пред пошлой откровенностью она продолжительною неуместностью очерчивает границы неприглядной месту и адресату реплики: к концу того введения она перестаёт задыхаться от волнения, и ожиревшие полудневым неумыванием лбы её более не пошатываются прежнею частотностью: едкою влюблённостью в меня улыбнувшись, она придыхательно начала рассказывать то, что было после тишиною вежливого незнания ответа умолчено и свёрнуто в ничто, что я прокомментировал уже условною, совершенно малозначительною репликою, которую через час не смог бы вспомнить и отдалённо: уйдя из кабинета, Наде, кажется, стало легче, когда моё бытие же отяжелилось непривычною плотностью; оставленное в пустоте школьного гула тело моё лежало прежнею неготовностью, и я так и не знал, как бы должно было ответить на то и как следовало её остановить от озвучивания, кажется, исконно сотрепящегося к тому; её родители развелись, и она осталась с претензирующей вечно нарочитым ожиданием от дочери иного, ясного в своих разрушительности и пустоутробности одно остроннему наблюдателю совершенства мамой, которая на протяжении уже пяти лет водит домой интервально сменяемых и возвращаемых мужчин: сперва они закрывали все двери за приставлением её, хотя то и нисколько не помогало, да теперь даже дверь в комнату часто распахнута на предельные свои возможности: в один из таковых разов она подглядела и поймала взгляд только ускорившегося мужчины на себе: желая отомстить матери за тиранию ото ожиданий прочих бытовых идеалов, она в дурственной переписке согласилась с мужчиной тем встретиться в их же квартире: уродливо стеснявшеюся улыбкой смешавшись, она скривилась и начала ожидать моего ответа. День был бесснежным: серая пустота неба оседала

на человеке, и плоть его продолжала кровоточить и гнить; со школы меня провели до дома Дмитриевцы и Николай: для них это стало обыкновенным делом, что они оправдывали величиной моей личности и необходимостью вечной защиты меня ото иных врагов: я не особо понимал их романтического видения, и потому каждый раз прерывал их хвалы моего труда как учителя в качестве самого честного самоотверженного усилия озвучиванием нежелания утруждать молодых людей: сегодня до самого дома я шёл с ними молча: крошки очерневшего вчерашнего снега едко поскрипывали, и я всё менее желал быть учителем.

Тяжёлая, дубеющая человекоприсутственными, еле слышными во оделённостях хлипко одвинутых друг ото друга отнедеятельностными, продолжающимися во доверениях тонких, означающих помешательство тоих рассудков во единстве форменных, одно обязанных во опространностях холодеющих оветшалостию старого, только едва удерживающего мощные порывы, каже, останавливающегося во тяжелениях вношних кисловатых, остыжённных ставностию отолженных ко деянию во благодатных-де мест пространств ветра здания тел становлений стен свирениями комнат гоготами темнота распространялась, распространяется и есть распространение во тоих тяжёлых фанерных сгибах немотного ремонта нашего дома: второй этаж ещё хоть сколько-то способен согреть человека, когда первый в стенах давно прохутился; многие спать под несколькими, оказывающимися во мясистых клубнях охрустывающих краснотными, овидающимися и становящимися подле незначительными о немые частые пробегания тараканов, обыкновенно питающихся кошачьим помётом, кои положатся вовсе случайным приставлением ко дому нашему из подкармливающих бабушек, уколами клопов одеями; оклешумные боли моего ноутбука прерываются безмолвием родившейся ко его выключанию тишины: комната моя совершенно темна, и только редкий иссиневый свет ото окна ставит эти шипящие непроисхождения ко реальности: перерывы чужды мне: встав, я опустил сейчас непродолжительное обязательное занятие, ибо сделаю его пред сном; тихую аккуратностию я подхожу ко двери на только еле ступающих ко тоему во нежеланиях разбудить никого носках: лёгким усилием в сторону двери я освобождаю защёлку от привычного металлического тихого шуршания и открываю дверь: темнота эта ещё сильнее: она ещё глубже проникает своими ониковыми диффузионными сточениями ко мне, и я закрываю глаза: те не помогут мне здесь, и потому я нащупываю в чуть скрипнувшем прехождении ко тоему холодную, приятную своею правильною гладкостию перилу: ощутив ногою край первой ступеньки, я робко подвинулся вперёд и открыл глаза: они прожднею способностию не помогали, да теперь мне казалось непоследовательным и странным, что я решил их сомкнуть; шаги мои всё же оставались довольно слышными и значительными, однако я всею возможною способностию ко тому минимизировал потенциальные шумы: уделяя подобности внимания, каже,

совершенным мелочам, я вдруг попытался определить свою цель: то, куда я иду и зачем вовсе вышел из комнаты; казалось, при открывании двери не возникало и малейшего помысла воздумать о бессмысленности того, и я подобною уверенностью направился вниз, туда, где, в общем, и нет ничего уникального, где нет ничего, чего не было бы сверху; несмотря на еле окравшееся сооставленными одолжновения положенностей тех зыбучее сщущение овооодящегося, я продолжил шаг: тот замедлился, да был шагом, и: мягкое, едва овонявшееся несвежестию, еле шевелящееся, да уверенно направленное в свою сторону: столкнувшись с чужою старческою рукою, я произвольным бездумьем слегка коснул её и тут же отстранился бестактностью свершённому; пять недолгих, даже оваленных теперь словно приличным и должным секунд прошли в тишине, и я неуверенною слабостию не духа, но тела: тела, теперь околеблемого любою незначительностию и вношнестию, произнёс едва ли уместное приветствие: короткое умолчание оголило преходящий теперь приятною, опомнившую прошлестии и избавившую ото отчего-то проникшего в меня теперь ото тела страха знакомостию голос: Лидия, добрейшая бабушка, относящая себя к тфальристам, кажется, из одного желания показаться уместной в кругах людей более молодых, совершенною беспристрастностию приняла случайно образованную мною игру и обратилась ко мне тою же шепотливою странностию; я сказал только, что мне необходимо вниз, и мы оба направились по лестнице, хотя верх обладал ещё менее уникальною новиною: именно второй этаж обозначался всегда побочным и худым уже в неприсутствии прочего предмета; оголяя ноги свои к синеватой ночи первого этажа, я словно впервые с ним столкнулся: холодный, опровождающий ещё более осиневшие, значительно светлые во сравнении со вторым этажом из некоторых окон без штор вовсе пространства ветер проходил по непривычным моим ногам; оступив наконец к полу, я словно впервые увидел эти места оголённым чистым, не утаивающим за собою тесноту заинтересованности собою взглядом; Лидия обратилась ко мне снова и позвала ко столу: в уже часто оставляемых светах подле стола я рассмотрел две кружки с висящими там пакетиками чая: чай был гречишный, о котором Лидия довольно часто говорила во время лекций в желании обратить на себя внимание или хоть что-то сказать: вероятно, она чувствовала всегда неконечность и лишность своего присутствия: проговаривая то в нервических спешке, задыхании и косноязычии, она в моих ответах всегда находила что-то хорошее и улыбалась: улыбалась сломанною опавшими или скривлёнными чёрною желтизною ото старости и бедностью улыбкою: изо рта её всегда чуть пахивало, однако я не часто говорил с ней в подобной близости и не часто позволял себе думать об этом: глядеть одно на внешность, на тленное тело, когда Лидия-де была самым смиренным и добрым человеком: она едва понимала, что такое Тфальра и чем мы всё же занимаемся: видя дмитриевцев, она радовалась и говорила, сколь же недурно, что дети занимаются умом; Лидия

пригласила меня к столу: на ней был старый, кажется, даже и советских ещё времён потёртый выцветший халат, на котором ещё можно было рассмотреть чуть пробивающиеся зеленоватою кислотною оттеночностью цветы и случайные золотистые узоры; сев за него, она протянула мне кружку с чаем, сама взявшись за пустую и, кажется, пытаясь не дать мне знать о её несодержании робоватыми, будто должными означать питьё, да не доходящими до её сухих обелевших губ движениями: случайною брезгливостью я обратил оперва внимание на остывшие прочною сухостию на кромке кружки песчинки оставленного к общему, прочно липкому, облитому частыми широкими пятнами гарнитуру печенья: чуть одёрнувшись, я незаметным движением перевернул кружку рукою и опил чай: я любил гречишный чай, однако Лидия часто добавляла в него иногда совершенно неуместные ингредиенты, которые называла изюминками своих работ; теперь она, видимо, добавила немного соли, отчего пить чай с удовольствием было нельзя, однако ото пятой части я испил и прожнею тишиною поставил кружку на стол; стол этот принадлежал общей комнате, в которой ещё спали люди: на кровати, думается, расположились двое, да и я почти уверен, что некоторые оставили свои двери открытыми: с образования Тфальры все мы удивительным образом перестали бояться друг в друге человека: доверие доходило до совершенной халатности в обращениях с людьми, что я не приветствовал, однако соседи мои находились, кажется, в несколько экзальтированном состоянии: с появлением дмитриевцев часть из них словно заважничала и стала прибегать к должной охранныости своих предметов и личного пространства, однако теперь всё сталося как прежде: так, что они считали самым счастливым и должным; я же не переставал закрывать свою дверь, хотя и всегда был готов к обращению к себе; Лидия что-то тихо про себя проговаривала, и некоторое время я греховидною отстранённостью её не слушал, притворяясь незнающим, да совершенно понимая, что говорила она это мне, будучи тихим и неуверенным, едва ли способным сознательно нарушить чужой покой человеком: я чуть пригнулся к Лидии, немного улыбнулся и дал едва слышный сигнал прислушивания моего к ней: довольно непоследовательно приступив к проговариваемому словно в изначо выдуманной, не допускающей напвлненного удобству адресата прерывания последовательности, я понял оперво только хвалу моих трудов: иногда Лидия говорила, что я красив и умён, переходя на явную личность, да чаще – объективные факты, кои я и мог порой упустить за скоростью изменений последних времён: я менее всех понимал, какие преобразования делаю, поскольку был именно деятелем, человеком, занятым пожирающим его динамичностью преобразования внутри себя делом; отемневшие озирающими темноту морщинами лица её не глядели в меня, и только слова могли подсказать обращение ко мне, да слушал я внимательно: она часто повторялась, да говорила вполне уместно, вполне по делу: говорила она так, да совершенно ясна была её отстранённость, будто она боится меня или благоговеет предо мною до такой

степени, что боится: кажется, всё оставалось таким: всё оставалось ото меня в страхе, и дослушал уже оканчивающийся довольно несвязною неспособностью заключить что-то монолог её я в преливах искажающегося сном вида: пытаюсь сделать бабушке приятное, я непроизвольною сдержанностью природного, явленного одно нерассудком отвращения допил чай: некоторое время мы ещё сидели в пребывающей нераспространёнными односложными, мотивированными именно Лидией разговорами тишине, пока она сама не инициировала мой уход за учётностью главно собственного желания разговора; я привык к прокажённому запаху и хладу помещения: только одумав свою привычность к тому, я спросил Лидию, почему она поднималась на второй этаж: та сказала, что на втором этаже теплее, что в холоде ей тяжелее заснуть, и потому иногда она дремлет на ступенках: возмущивших удивительно мне несмирною недовольственностью таким непорядком, я обещал решить это общими усилиями наших соседей и предложил поспать в своей комнате, в ответ на что Лидия оголила чуть хлипнувшие пытающимся то сокрыть своею предельною силою голосом её слёзы и отказалась, в попытке отвлечь меня спросив, зачем я спускался: я не смог ответить ничего конкретного, за тем рассказав ей почти кощунственную случайностью выбранную почему-то уместным новозаветную притчу. Последним, что она сказала мне, была хвала уже Коленьки, как она называла Николая: она говорила об особенном сюрпризе мне, о котором не знаю из всех только я: она похвалила его за старания и отпустила меня окончательно; ночь эту я не мог заснуть, слыша прерывающиеся охлаждённым дрожью дыхания подошедшей позже Лидии: звук этот больно бил в меня, однако я решил, будто это есть решение Лидии и искупление её своих грехов. Со следующего дня мы значительно утеплили дом: слушая меня, тфальристы, учитывая и дмитриевцев и самого Дмитрия, также значительно вложившегося в это, отчего-то охотно тратили свои деньги, хотя пред тем я всем искал, извинившись отдельно, что помощь эта есть только помощь ближнему, но не практика молитвы. Очень скоро мы собрали все деньги и справились, однако к тому моменту Лидии стало плохо: она почти не говорила и не ела, кажется, боясь нарушить наш покой и не желая обращать на себя лишнего внимание: опухшие желтоватою краснотою глаза её оголяли, как много и как тяжело она сдерживала свою боль, да просила меня обещать ей, что я не вызову врачей: веря в её скорое выздоровление и одумывая только больший вред тревог ото неприставлений воли её, я её послушал. Через неделю Лидия умерла. Умирала она уже в больнице, куда попала в неспособности обратиться к нам: ею последним словом была благодарность мне за работу с утеплением первого этажа. Тфальристы ещё часто упоминали это в мою пользу, однако то только тяжелее оседало в душе моей опавшим признанною мною же недолжностью унынием. Я винил и виню себя в смерти Лидии: кажется, лучшего человека среди всего нашего дома: именно она умерла: она, но не я, волнодумец и дурак: не я, праздный, признаваемый пошляк.

Это стало для меня тяжёлым грузом. За месяц я спал не более пятидесяти часов: остоящиеся во дверях моих случайною подтверждённостью слуха тфальристы посчитали это молитвою и также старались не спать: среди них были также люди пожилые, и я случайно сорвался тогда криком на них, категорически запретив пренебрегать сном; вопреки моему ожиданию, тфальристы только более благоговели моею озабоченностью их здоровьем, когда сам я не мог сказать ясно: содержится причина того в моей озабоченности, в нежелании навредить и в отужении помочь, или в страхе снова ощутить подобное чувство: чувство, когда ошибки твои или доводят человека, или особят его смерти; долго я был нервным и особенно сухим. Тогда я читал больше обычного, и лекции мои приобрели характер скорее религиоведческий, хотя вскоре я и остыл ото уныния того и стал спать нормально: тогда я совершенно изнемог и спал целых тридцать часов; директора я нелепо оповестил уже после о якобы произошедшей иногородней конференции, о которой забыл ему сказать: увидев меня прежде освежённым и чуть облёскивающим здоровьем, он простил то и без выговоров; работа учителем виделась мне уже однозначно излишней и пошлой: крайне значительное время я остывал одно подо ублажениями юностной глупости детей: оказалось, что учитель может обучить школьника только очень немногому, что занятия новых изошрённых видов моих были куда менее продуктивными: так ученику было веселее, однако он ничего не закреплял в уме: вероятно, суждение это я несколько очернил в уме своём, однако теперь оно осталось для меня именно таковым; я более не хотел быть учителем, о чём случайно однажды проговорился на лекции: особенно, уже пугающе меня в прочей нервической болезни заинтересованностью Николай после неё горячо рассказывал мне, будто скоро я не буду должен работать, он оставил явную, словно должную быть направленной на мой интерес его личности загадочность: к Николаю я теперь обращался реже и иногда даже почти игнорировал его изыскания: я чувствовал, что тот идёт иной дорогой: он не принадлежит идеям нашего кружка: он скорее заинтересован в признании мною своих ума, изошрённости и трудолюбия: в вере он соревновался, и порой то доходило до самых неприглядных карикатур: провожая меня со школы и в школу, он порой обещал, что добежит до неё теперь особенно быстро, и делал то он всегда в моём замечании, словно одно ожидая моего внимания; я не знаю, кем теперь работает Николай, однако успехи в даваемой мною теории он делает безусловные: каже, именно оттого я и сам стал сомневаться, довольно ли моих идей: довольно ли Тфальры даже во оболочке кружка человеку. Душою я будто противился тому, но остатки уныния моего воспалил ко прежним энтузиазмам именно Николай. Моя вера в Тфальру ослабевала, а самих тфальристов становилось всё более: лекции становились скучнее, тусклее и менее содержательнымим, но откуда-то приходили всё новые люди: теперь даже дмитриевцев считали старыми последователями: иногда я стал замечать, как люди слушают мои лекции во

особенных устройствах на указательных пальцах: то было схоже с металлическим, повторяющим форму пальца основанием с двумя фиксирующимися кнопками: я думал тогда ещё, будто то есть некоторый модный аксессуар, однако положился он не только на часто являющейся теперь здесь молодёжи; позже Николай с некоторым пренебрежением сказал мне о неких резаках, о людях, придерживающихся Тфальре и избравших путь самоповреждения: словно то есть путь истинный, более честный и яркий; резаки сами, видимо, боялись своих убеждений и никогда мне не говорили о том: на одной из лекций я озвучил мнение о подобном, предупредив дурноты подобного метода: ища простых способов искупления, человек только более забывает о молитве, о содержании: я сказал, что резаки пользуются несловесной молитвой в кощунстве, и с тех пор людей с подобными предметами крайне уменьшилось, а те же, кто ещё имел к тому склонность и интерес, делали это, судя по слухам, в одиночестве или в тайне во время лекций: резаки, кажется, образовались без лидера, ибо того мне отследить не удалось; полноценные лекции я теперь проводил пять раз в день: материал всё не истощался, и я имел силы: имел силы, да всё более худо относился к учительству; теперь я, несмотря на существо материала, проводил одну лекцию три раза: на каждую из них приходили разные, договорившиеся об очерёдности заранее люди, и места всё не хватало: чуть блеснувшее возмущением нежелание редуцировать и сменять объёмы изысканий моё было озвучено в разговоре с приставшим тогда Николаем, что только более обрадовался тому: у него был некоторый план: тяжёлый, сложный и новый, однако о нём я и не догадывался; мне тяжело было представить настоящее чисто тфальристов, однако позже оказалось, что на лекции ходили только исключительные из них: каким-то образом Тфальра распространялась уже довольно монструозными масштабами, и в том, кажется, был задействован именно Николай. Наконец, ночью он обратился ко мне и сказал, что в следующий день произойдёт наконецтошное нечто. Засыпал я в беспокойствии и боязненности. Тогда я снова вспомнил Лидию. Именно я был её убийцей. Именно я виновен в её смерти. Лидия умерла от пневмонии. В ночь эту дом наш сторожили дмитриевцы и Дмитрий.

Мой ребёнок умер. Когда соседи сверху шумели, я чуть выглянул к ним: дверь напугала меня; на следующий день уже моя дверь задрожала. Я ушёл.

Сперва мне казалось, что жизнь в подобный условиях есть жизнь самая тяжёлая, неносимая, страшная и унылая: отчасти так оно и случилось, однако страх часто сменялся вполне беззаботным авантюризмом: из дома я вышел в лес, ещё чувствуя на себе глаза опасности. Лес был тихим, величественным и чистым: я не хотел сравнивать его с миром, в котором жил прежде. Рассеянные еле шипящим светом листья отдавали красноватыми, будто уходящими в себя длинными звездообразными иглами бликами: ноги мои были обуты, однако их доставало поддержанию тепла: я разулся, чуть ощутимыми движениями размял

отвердевшую ещё совершенно непродолжительным походом стопу и пошёл далее, по хрустящим сухим, пестрящим теперь зернистостью ночи веткам. Мне показалось, что было тепло, хотя остального своего тела я словно не учитывал. Небо желтело, как сменялся и лес: часто попадающиеся предо мною камни так и стягивали к себе: я хотел встать на них, обнять их и склониться подле, но темнота внешней бездвижности лесного ветра толкала меня дальше. Иногда мои ноги цеплялись за неразличимые во мгле выпавшие толстые корни гигантских деревьев: я слегка пошатывался, случайно царапал давно позабывшую об учётности подобной незначительности дел ладонь и продолжал идти. Иногда тропа имела крайне неожиданные развороты, будто должны увести меня обратно к дому, но я шёл всё неизменно нетяжёлою походкой. Небеса иногда пролетали надо мною багряными пузырями, и тогда свет падал на мою крупную, вздутую цыплячьими глазами голову.

Через пять часов я устал и уже начал всё сильнее хотеть еды: я понимал и почти осязал свою способность к продолжению этого похода, однако слабость душевная захватила меня с неожиданной силой: я сдался и стал расхаживать вокруг ещё одного здорового камня, ставшего конечной точкой моего пути, некоторое время уже неуверенно продолжающегося в попытке обнаружить хоть какой-то отчётливый ориентир. Я не стал укрываться ветками или мхом, а одно снял чуть влажную от моего пота толстовку и накрылся ей: неловкие движения раскрывали во мне уязвимую неподготовленность к происходящему, но каким-то образом я улёгся даже довольно удобно: мешковатые простыни травы щекотали мою шею, и со временем это стало приятно. Заснуть было непросто, но я не испытывал подобного своему прошлому опыту страха перед этим вязким, тянущимся неопределённостью своей разрешимости ожиданием: я хотел только сна: только прекращения бодрствования. Глаза мои скрывались полутонами зигзагообразных предсонных галлюцинаций, и уже совсем неясные образы скрывали предо мною темноту впадающего в меня леса.

Я заснул. Проснулся я довольно рано: даже, кажется, слишком: вероятно, проспал я всего с четыре часа, хотя за тем был чрезвычайно бодр. Я пошатнул несколько окаменевшие своей бездвижною отёчностью ноги и сквозь болезненное давление в голове привстал. Шлейфы уже расходящегося пышными узорами солнца проливались сквозь деревья и землю: я посмотрел вверх, ослепился посиневшим светом и протёр глаза рукой. Запах во рту чуть отвлекал меня от приглядности общего вида, но то я подавил почти искусственным убеждением о необходимости продолжения своего пути. Высохшие плотною тяжестью штаны давили на мои ноги, и я даже почти отвлекался на это раздражительным ветреным призором, в то же время чувствуя уже вполне избалованную твёрдость своей привычки: пористые круги леса всё более проникали в меня, и, совершенно, думается, не учитывая в явлении плохого, я даже едва хихикнул, не сумев сдержать радость от принадлежности, как тогда думал, лесу:

разумеется, радость таковая была скорее реакцией не ожидаемого подобного ума, но тогда так думать мне хотелось.

Так я шёл весь день, пока не встретил в дали непривычно суженное чёрное пятно рукодельного шалаша: аккуратно подойдя к части уже отдалившейся от меня цивилизации, я стал выглядывать в глянцеватости обтягивающих палатку пакетов движение, однако так ничего и не увидел.

Посматривая на путь спереди, дабы не шоркнуть иной раз сломанной веткой или сухой травой, я чрезвычайно ловко обходил выдуманные преграды, каким-то произвольным движением решив проскользнуть в палатку. Серая седина пока сокрытой от меня внутренности шлёпнулась кислым светом солнца, и предо мною оказалось только небольшое пятнистое одеяло, в отдельных своих местах очерневшее неизвестными субстанциями. Я опустил руку с придерживаемой половины палатки у входа и оставил себя в смердящей безмолвности палатки: я не был довольно слаб, чтобы разместиться тут, однако голод всё сильнее устремлял меня к экономии сил. Я аккуратно сложил одеяло и выложил его за палатку, постаравшись не подвергать его риску быть облитым всегда возможным дождём. Запах в палатке стал лучше, хотя тяжёлый душный дух всё ещё оставался. Где-то палатка была мокрой, где-то полагала в себе куски будто некогда и твёрдой материи: я старался не думать об этом и тупой усталость расправил впервые расслабившиеся, гудящие язвенными уколами ноги, опираясь на руки и держа голову на плечах. Так я пролежал с пять минут, совершенно ни о чём не думая. Шёпот укрытого сзади неизвестностью пространства спереди леса поглаживал меня, и с тем я был согласен. Ветер блестел ударами сковывающихся усиливающимся шелестом пакетов, и редкие подозрения о человеческой природе внешний звуков иногда всё же заставляли меня отвлекаться. Я снял толстовку, как бы уже и не смущаясь окружающей обстановкой, будто даже став вполне гармоничной её частью, что меня не радовало, но помогало чувствовать себя комфортнее. Ещё остающиеся чем-то новым узоры пятен застывшего пота, которые я уточнившимся мимолётным интересом рассматривал, скоро перестали отводить меня о мысли о голоде, уже сознательно подавляемой умом, столкнувшись с невозможностью разрешения данной проблемы.

Я протёр уже остывшие сухой плёнкой руки ладонями той же невлажной отвердевшей и накинул на едва держащие её плечи толстовку: лицо моё словно стягивалось неумытой грязью, которую прежде я из особенностей динамичности действия даже не замечал. Окрасневшие дыры просвечивающих солнце пакетов смывались в острый, сменяющийся мягкими разводами клубок: я, уже отвыкший от этого звука, зашоркал квакающими над влажной травой плёнками убежища: вероятно, сюда всё же никто не придёт в ближайшее время.

Уже отдельно наросшим трудом вытягивая себя из палатки, я ступил на уже неясно тихую и мягкую траву: повернув голову левее, куда прежде я не решался взглянуть из страха возникновения потенциальных врагов, угодилось увидеть в небольшом отдалении, выправленном рябоватых худым леском, довольно сильно отличным от окружающего его, некое подобие будки из дерева. Кропотливою аккуратностью подойдя чуть ближе, оказалось, что будка эта находится в состоянии гораздо менее устойчивом, чем прошлое жилище, однако представляет из себя всё же классическое сооружение, думается, созданное посредством настоящих инструментов. Я едва обошёл будку, закрытую от темнеющей яркости леса чуть придавленной к себе небольшой складкой шторкой розоватого цвета с неуместными, выточенными синеватой, выпавшей белёсой тусклостью обводкой узорами. Деревья вокруг были высоки и прочны: возможно, куда прочнее и насыщеннее меня, голодного, уставшего и уже склоняющегося к сонной слабости, да новые пространства и словно обновлённый холодным озоном воздух позволяли мне находиться в гораздо более приподнятом настроении, чем стены непрочного бетонного дома: дома значительно менее устойчивого, чем частично сгнившая откровенными щелями будка, в которой непросто будет даже одно лечь, выправив ноги.

Здесь, кажется, спать будет гораздо безопаснее и теплее. Я пошёл дальше, пытаюсь запоминать отличительные опушки, даже к тонким отличиям которых я за подобный незначительный срок уже оказался почти привычен.

Необходимо найти еду: мысль о естественных способах добыть себе пропитание меня мало радовала, однако с уже произвольно шагающим перемещением я стал слышать гудящий звук, будто и удовольствованно теперь проходящий сквозь меня: довольно странным было бы полагать, что сооружения эти могли появиться посреди леса, а не вблизи к населённому пункту или подобному; я слышал звук относительно часто проезжающих лязгающим рокотливым скрипом машин. Я не стал идти к дороге, а только держался рядом, пытаюсь обнаружить за едва обещающими мне то тяжестями леса объекты, позволяющие насытиться или хоть приблизиться к этому. Дорого казалась мне лишней, другой: дорога словно не должна была принадлежать этому миру: словно, увидев её, я обязан был раствориться, быть разорванным некоторой изначальной онтологической неполадкой: я слышал шум, но машин не было. Солнце опирало на меня всё больше чёрных, скалывающихся остротою веток теней, и я начинал разочаровываться: впадать в акедию не по факту ошибочного выбора пойти в лес, но по непродуктивности действия; я решил уже совсем незначительно пройтись дальше, чтобы обозначить уже конечность попытки выполнения данного задания, как вдруг в далеке, сколь то может позволить скрывающий от тебя и близлежащие предметы бурдовостью жирных стволов лес, начала блестеть омаатовевшая пластина, оказавшаяся стеной заправки. Сперва

блеснувшая металлическими, уваленными словно аммиачными светлыми парами опорами крыша создала в голове моей неверный образ излишне крупной, увешанной большим количеством петельных цепей всяческого, связанного с проводкой, очевидно, всё же не столь необходимой в месте подобной примитивной задачи, постройки. Я подошёл ещё ближе, и вновь выпавшая линия человекоподобной фигуры заставила уже уставшее от подобного сердце моё дрогнуть, однако привыкшие к свету и радужному сиянию металла глаза разглядели теперь в фигуре отдельными местами расплавленное отставленными друг от друга сегментами тело. То был невзрачный, уже сильно потускневший во влажном жаре манекен, уже давно, видимо, отработавший собственные задачи. Лицо манекена было наполовину стёрто, да неаккуратно вылепленные толстыми, спадающими на маленький зрачок ресницами глаза давили сторону тяжёлым незыбким видом.

Я раздавил комочки смятой кверху травы и наступил на еле стёршийся от моего мелкого шага песок. Вокруг никого не было, и потому я решился уже значительно быстрее подползти к безмолвно возвышающемуся над землёй бетонному подъёму. Многие ступеньки разваливались и представляли из себя ранее игнорируемую мною лёгкую разрушенность, но интереснее мне было всё прочее, что могло обрести форму или роль потенциальной пищи. Перед сковывающей большую мутную канистру клеткой я видел только часто сложенные среди небольших камешков фантики от, вероятно, батончиков и шоколадок, которые тут оставляли сотрудники, думается, иногда выходящие покурить. Знание о курении во мне воспалила небольшая банка, будто даже запрятанная уже за канистрой и поначалу привлёкшая меня надеждой о напитке или сиропе: мысли о подобных маловероятных находках всё более проникали в меня, хотя то я пытался осознавать как можно яснее.

Я наступил на первое небольшое возвышение, шлёпнувшее моей обувью маленькие песчинки твёрдой материи, и увидел прежде скрытую за углубляющейся стеной чёрную пластиковую ручку двери. Я старался не думать о том, что за дверью меня самой лёгкой победой может ожидать продовольствие, но голод был сильнее. Сопrotивляясь этим мыслям, я решил отойти подальше. Упавшая боком от моего лёгкого прикосновения голова манекена едва стукнула своей пустотой о шершавые ткани холодеющей земли.

Я завернул, уже наблюдая и людей: так неожиданно и полно они ходили в семи метрах от меня, что я будто и решил себя подобным им, хотя теперь, вероятно, некоторое время мне нужно будет провести в обособленном от информационной уязвимости одиночестве.

Я холодными, порозовевшими напряжением глазами старался не выдавать явленной голодом и специфическим времяпрепровождением дикости, однако неожиданно на некотором баке справа, видимо, поставленном тут для накопления дождевой воды: крышка от него была вырезана квадратным фигурным отверстием, на котором я и увидел то: я увидел пачку

овсяных печений: их каричная глянецватая упаковка была даже из тех, что прежде я избегал из дороговизны, однако здесь она, кажется, находилась совершенно бесхозно. Ещё с минутой постояв вплотную к стене и всё же не притянув иных глаз к себе или к пачке, я решил некоторым незначительным тороплением, что участь данной упаковки решена: не в полной мере доверяя такой находке, я наконец коснулся её, ощутив содержимое. Действительно, весьма классическая упаковка содержала в себе весьма классические овсяные печенья. Ещё оставляя некоторое время для манёвра фантомного владельца упаковки, я медленно взял её и шёл так, будто вот-вот буду готов отдать полноправному владельцу. Идя так до самой задней части магазина, я остался один на уже известной, обитой иногда жестяными лоскутами проводов и небрежно оставленного мусора площадке. Печенья теперь мои. Конкретно в этот момент я мало думал о легитимности, легальности и нравственного такого поступка: решительно было неизвестно, действительно ли печенья не были никому нужны, однако несколько аккуратный эгоизм мой разрешил мне это, и единственным чувством была радость за удивительную именно позволительностью этого дела удачу. Так же неторопливо направляясь к лесу, я дошёл уже почти до найденных строений, как вдруг впервые за почти сутки подумал о воде. Украдшим морковь Флораном я стал вспоминать о вещах, впрочем, удивительных: проснувшись, я не испытывал жажды, как не испытываю и сейчас: только культурная ассоциация печений с чаем и другим питьём застала меня за странным явлением. Я много потел и дышал, да ни разу не приходилось чувствовать хоть незначительную толику желания воспить воды, которой я всё это время был лишён. Обыкновенно довольно забавным свойством человеческого организма я испытываю сильные головные боли при жажде, но сейчас ничего подобного не было, и, вероятно, несколько уже излишне авантюрным опытом я решил продолжить данную тенденцию: проверить, сколько я смогу так хорошо себя чувствовать без воды и смогу ли вообще это продолжать. Радостно притоптывая к деревянному сооружению, я понемногу начал открывать упаковку раздавшихся парижской плотью печений: бестактно протянувшиеся в глубину пачки пальцы вдавливались в песочные мягкие вмятины коричневых пухлых кружков: случайно приоткрыв рот, я скорее впихнул в себя печенье, охватившееся после вязкой, словно отвердевшей теперь вполне ощутимым болезненным чувством слюной. Я проглотил всё содержимое упаковки, под конец той уже задыхаясь жадным насыщением: сладость крошек казалось излишней, приторной, однако приятнее этой неразумной жирности мне сейчас ничего не было. Протянув ладонью крошки с щёк и губ в рот, я стал обсасывать после покрывшиеся черноватой от грязи на ладони слюной пальцы, после чего прилёг, удивительным доверием оперевшись на громко скрипнувшую доску: ожидать от неё неслома было несколько ветрено, однако во время то я был ещё погружён в болезненное возбуждение от новой вкусности.

Пробудившись от удовольствия, я открыл глаза в будто успевшем посереть за время моего завтрака лесу, выглядывающем за частыми дырами сооружения: ведомые уже неиллюзорным знанием о нахождении дождевой воды, ноги мои уверенно пошагали в окончательно теперь изученную сторону к магазину, откуда печенья те я и взял: верным и приличным было бы попытаться обнаружить своего спасителя или, возможно, свою жертву, да жажда сковывала почти окровавленной резью в горле, отчего я успел только наглотаться иногда словно шевелящейся в моём рту мальками воды и в опийственном бреду дойти обратно, укрывшись в мокрой древесине необычно тяжёлой, сильно помогающей уснуть толстовкой.

Я съел совсем немного, чего нельзя было сказать о воде, однако сила всего пачки печений так придавила меня, будто я даже не был ребёнком, а только младенческим крошкой, густо укрытым большими немягкими, отдающими запахом еле заправшей в жару спальни подушками.

Спалось хорошо, даже очень хорошо: оперевшись о чуть продавливаемую под моим скудевшим весом руку, я был ослеплён совершенно незначительными пятнышками проникшего сквозь полосы сгнивших, отпавших сменяющимися галочками щепок света. День начался: слегка разминаясь, я встал, и протянувшийся длинным гибким шпагатом живот мой согбился под худыми, выставленными недлинными арочными линиями рёбрами. Я чувствовал голод. Тяжело выходя с этого незаселённого, принятого мною как нечто свободное сооружения будто спускаясь с Юнгсбаккета, мне приходилось приседать и чуть приподниматься, да скоро в уже устоявшемся положении мне далось расслабиться, сколько то было возможно: голод съедал меня: голод тянулся кислым вяжущим вкусом пустотных ослаблений с самого живота моего до поддающегося холодным судорогам горла; определённо, я хотел есть. Сперва позабыв толстовку в сооружении, я взял её, отчего-то утвердив в моей голове, что уже более суток я не снимал штаны и промокшую жёлтыми пятнами обветренных глухих смрадов футболку. Впервые за время то случайно оголив перед воздухом заметно стянувшийся живот, я вышел к траве и размял сдавленные обувью ноги: стопы мои будто утягивала земля, но было бы ещё хуже, решив я остаться в сооружении. Синии лоскуты блеска томящего пар горячей травы солнца сплетались предо мною, и частые искры пуха поглаживали моё лицо, смятое и опухшее несодержательностью соединяющегося длинным, укрывающимся конечностями своими в толстых пучках суставов червём голода. Интуитивно или в бреде, но я шёл, ведомый уже совсем иными чувствами: вчерашний авантюрный азарт казался теперь странным, недолжным и излишне праздным, да более меня волновали вода и еда: даже для меня, человека прежде довольно брезгливого, настоящее положение гигиены не становилось каким-либо значительным фактором крайнего неудобства. Легко сказать, что в

отсутствии пищи ты будешь сохранять прежние достоинство и статность походки: также легко следовать зову желудка мне сейчас, позже брезгливо отпугивая тех, кто скажет о недолжности моих действий. Я едва мог сказать, будто надеялся исключительно на воду, которую знал и ждал, пока шёл: безусловно, я желал именно еды, тревожащей меня сейчас сильно больше и кричащей о своём отсутствии. Лицо ставшего отчего-то таким близким мне за эту ночь магазина открылось уже почти безумному потному шагу моему: я жадно ступал к бетонному приступу, как вдруг, только зыбкой надеждой направляясь взглядом левее, заметил красноватый блеск давно знакомой упаковки лапши. Жизнь моя прошедшая будто не была, но одно намекала на себя в нынешней непредметной содержательности. Я быстрыми мелкими шажками прикрыл собой сзади вид к вожделенно рассматриваемой бочке: именно на ней лежали друг на друге две упаковки сухой лапши быстрого приготовления. Захлёбываясь водой и прячу лапшу в карманы толстовки, я быстро двинулся обратно, теперь сознательным решением совершая бег. Вероятно, теперь меня можно назвать вором: вероятно, теперь меня также можно назвать человеком, подчинившим себе уже известную закономерность. Равно как и чувство крайней скованности внешними факторами, во мне воспалилось подобное вырождение собственной воли, формы достижения комфорта, где можется и следует одно совершить над иным усилие и над собой власть решить дела ближнего: обычно это делают люди без подобных мыслей о недолжности таковой доли, да любой приличный человек впадает в такое своеобразие власти исключительно в обстоятельствах, становящихся последним неприглядным делом в общей форме занятий человека. Я разгрыз содержимое двух пачек, резко вывалив в свой рот масло и специи, помещённые в отдельные худые пакетики, спаренные меж собой.

Оставив руки только культяпками уже содеянного преступления, как решил я самостоятельно, мне пришлось спрятать пустые, вылизанные до последних крошки и капельки масла пачки под крупный седоватый камень, ошпаренный частой крошкой пористых углублений. Обтерев сваленные землёй пальцы, я пошёл: едва можно было сказать, куда я направился, однако отчётливо справедливо теперь утвердить: живот мой скрутило острой колющей болью, и осталось лишь идти, стараясь отвлечься от только усиливающейся боли неумелым тихим шагом. Лоб мой покрывался испариной, а губы иссыхали приоткрытым пузырьём, да можно точно сказать: боль лучше голода; подобно тому, как скитания лучше заточения.

Солнце серело голубоватой дымкой чёрного пепла: всё переходило, тормозилось, росло и тянулось, да к процессам этим, противоречащим себе, я не относился; я содержался обособленно от этого: я не являл собой человека, должного относиться как-либо к ближнему. Сперва свобода эта меня опьяняла и ввела почти в безумие, да после уже привычным образом

пришлось смириться с условиями обновившейся объективной действительности. Я, конечно, видел в том также и собственную трусость, стремление сбежать от окружающего и не только миров, но теперь подобные размышления отошли не на второй план, да на полноценную, оказывающуюся в крайнем отдалении от действительно тревожащего меня периферию. Рассудок продолжается невидимыми осколками ударяющего вдаль укрытой белёсыми некасаниями звездой света: зелёное небо окутывается грязью посеревших наваливающимися холмами огревающейся самостоятельностью тяжёлого воспаления пыли облаков: небо выдавливается краснотой выпирающего оттуда жестяными чернотами существа, и.

Если чуть отойти от уже привычных расположений моих, окажется, что совсем недалеко возникла чрезвычайно странная стена: росла она будто сверху, и самым специфическим было, что стена окатывалась именно склоном внутрь себя: именно углубление... именно оно... зачем отец бросил меня? отец, ты... когда я приходил к тебе, когда я приезжал: пока шёл к подъезду, я плакал, представляя, как наконец режу тебе руку, дабы ты запомнил меня, и режу себе руку... и ухожу: окончательно уже ухожу, уже не пытаюсь и не надеюсь... я....

Мой ребёнок умер. Когда соседи сверху шумели, я чуть выглянул к ним: дверь напугала меня; на следующий день уже моя дверь задрожала. Я вернулся. Вот: вот оно: лицо это: выросшая до потолка уродливая страшная морда: морда, что ненавидит меня... а я? я? я! я тоже ненавижу эту морду! ненавижу морду! ненавижу Москву!

После произошедшего внутреннее возбуждение совершенно непривычно мне с начала пути моего вмешалось в воспринимаемую действительность: действительно, я стал нервным, довольно рассеянным и, что более всего повлияло на появление дискомфорта, который я более не хотел бы испытывать, будто не мой воспринимать реальность в силу собственной же несодержательности: дыхания во мне не хватало произнесению и действию, а голова словно разрывалась от восставшей из несостоятельного разнообразия артикуляций ума боли: мои... мои глаза словно лопались, словно они были готовы вытечь на лицо длинным мокрым пятном, да отчего-то я продолжал идти: я шёл непомерно медленнее должного и сильно быстрее болезненного: я довольно пересиливал себя, стараясь оттолкнуться от того вороха наваливающихся на меня мыслей: моё лицо краснело, и я боялся этой красноты: стараясь избавиться от этого нездорового румянца силой своей нарочитой холодности, я находил себя ещё более разгорячённым: будучи запертым в клетке, я рвался из неё, обливаясь кипятком: волдыри в каком-то смысле вываливали меня из оков прочных металлических, прижигающей всё остальное тело ставней, да то: то не было мной.

Натирая ноги, мне удавалось преодолеть только несколько метров: напирая всем телом, я едва двигался. Розоватые осколки воздуха совсем ввели меня в зыбучие пустоты влажного

ветра: кажется, я шёл очень долго: уже ночь настала, и давно проглоченное таким стыдом опало бесцветной пеленой молчания, да мне хотелось ударить себя: мне хотелось проткнуть голову и выбежать из мира, что хранит в себе знание о моём преступлении.

Возможно, то было оставлено специально: для подобных мне, может, даже для меня. Я убеждал себя в этом, но не смог. Украденное суммой на совсем незначительное количество денег вынудило меня сбежать отсюда. Передо мной возникла река.

Спотыкаясь о скатывающиеся глиной в собственных округлых узорах вихра, я преодолевал взрывающиеся плевками воды камни, да уверенно можно было сказать, что камни находились на расстоянии совершенно безопасном своему преодолению. Единожды серьёзно поскользнувшись, я ухватился за вовремя растянувшийся ко мне сук, одно силой ветра хлынувший в выгодную сторону. Продавленная в одну сторону трава схватила меня, упрочив желаемое расположение: возможно, лес помогает мне: не исключено, что также мне помогал и тот малый лоскуток цивилизации, да помощь от людей я принять, думается, не могу. Таким образом, мне следует добыть пропитание самому. С такими мыслями я свалился под кустом: что-то кололо и, кажется, укусывало меня, да здесь я чувствовал себя правителем даже не во значении власти, но в смысле незаимствования чужого, того, что создало бы связь между нами: не нужно меня также понимать и как миссионера: я вполне осознанно отказываюсь от таковой идеи: от принадлежности к этому миру, от связи с этими людьми. Небо золотилось вправляющимися друг к другу спиралями: я чувствовал странный тихий шёпот гор телесного цвета, и земля принимала меня, хотя и была сурова своим сгорячённым холодом.

Я проснулся быстро и с целью: уже мало что напоминало мне бывшие меланхоличные рассеянности. Теперь я существую иначе: теперь цель моя есть выстраивание совершенно иного положения: того, где нет неприглядного безмолвия и нечестности: теперь то решил я молчанием. Я стал выглядывать как на добро выпирающие грибы и небольшие кустики земляники: оказалось, что нацеленный труд в эту сторону вполне способен накормить, даже в весьма значительных своих силах. Почти весь день я ел ягоды и сырые грибы: я знал нечто о ядовитых видах обоих представителей, но к концу дня уже совсем не мог сказать о стерильности своего рациона: я праздно провёл этот день, и страшным удивлением для меня стало то знание, что все леса подобны тому месту, где я был. Лес, стало быть, действительно может прокормить. Воду я добывал чаще из мха, а основным материалом для условленного жилищем становились избавленные от листьев ветки. Я соорудил целую лестницу из обломленных толстых суков на крупном прочном дереве, причём искал я дерево именно такое, чтобы подъем на него был предельно затруднён: я не метался среди скошенных под небольшим углом дубков, а сознательно избрал как можно более прямой и простой ствол, который обделал уже под себя. Сперва подъём был довольно тяжёлым: я путался, царапался о

старую твёрдую кору и даже пару раз упал, да уже к концу второго дня подготовки своего дома я приспособился и стал с удивительной ловкостью прятаться за недлинными, несколько небрежно обломанными в специфической ориентации одно на функциональность ветками. Материал иногда, кажется, даже путался, менялся и добавлялся, однако основным материалом всегда были преимущественно тонкие, имеющие большое количество своих младших продолжений ветки. Порой, заглядывая кверху, к своему жилищу, я сильно удивлялся накопившемуся монструозным яйцом на дереве шару: думалось, я не в полной мере сам представляю способ крепления этого сооружения с деревом и только еле касающимися его ветками, да всё же оставалось оно довольно устойчивым и даже безопасным. Пропитание я уже целенаправленно будто и не искал: то стало частью моего быта, укреплённого поиском новых материалов: начиная уже пристраивать основание как отдельный обруч небольшого коридора, однако позволяющего мне совершать те же прыжки и карабканья до спального места, я стал обращаться и к камням, усиливающим начало дерева, уже ставшего подобным крупной цементной трубе от завода, прежде часто закрывающего собой и отходами вид на город.

Башня моя становилась также несколько неожиданно выше: лишь робко подозревая о возможности сделать в спальном месте отверстие и продолжить от него постройку новых помещений, я стал свидетелем крайней доступности этого расширения. Постепенно башня обзаводилась новыми комнатами, а путь к ней с высоты ствола я решил также экспериментально опробовать теми же методами, к которым обращался прежде: очевидно, всё же присутствует, всё же существует некоторая верхняя граница, являющая собой пределы прочности веток, совмещённых также некоторым количеством случайных материалов. Так, я стал пробовать сперва самые непрочные средства: многое рушилось и даже беззаветно складывалось под слабым напором одной руки, да то только придавало мне силы, только показывало, что и математическое основание приложенных мною трудов также присутствует в этом: что всё держится не на случайном везении и совпадении. Наконец, я перепробовал всяческие способы креплений и пришёл к оптимальному, то есть тому, что обнадёжит меня также и всяческим запасом, нужным для различных непредвиденных обстоятельств. Медленно проходясь по каждой ступени, должной исполнять скорее функцию турника, я довёл обновлённые подъёмы до спальни комнаты, а после — выше, в комнаты, назначение которых я пока только начинал выдумывать. Поднимаясь уже на высоту примерно пятнадцати метров, я стал подозревать о необходимости дополнительного укрепления стен; хотя конструкция дерева и позволяла не терять в прочности по мере повышения высоты, я всё чаще подумывал об опасности одной неловкой ошибки: едва можно было оправдать мою удачу исключительно талантом и сухим расчётом: очевидно, во многом мне везло, и оттого ещё

нельзя было сказать, что природу всего из происходящего здесь я понимаю довольно учётливо. Укрепление я начал снизу, решив осуществить его двумя слоями: первый состоял из смеси земли и глины, которую после я как бы вливал и впаивал в остов из листьев, веток и мха; подозревая о начале развала конструкции вследствие такого решения, я вновь встретился с удачей: почти подобно бетону, всё удерживалось даже мифически хорошо; меня мало интересовало обоснование данного метода: я хотел увидеть результат на практике: я хотел сделать своё жилище недостижимым другим существам и, вероятно, даже расширить его до других деревьев, и почти предметного содержания мысли об этом посетили меня, когда уже увеличенный диаметр башни стал касаться в довольно толстом своём начале ветки другого высокого мощного дерева. Пока, однако, я был увлечён укреплением башни: постепенно высота земляного камня доросла до спальни комнаты, и тогда я добрался до камней: работы с ними меньше, да сами камни добывать значительно тяжелее: перетаскивание их требовало большого усилия, и потому рост первого слоя укрепления происходил сильно быстрее второго. Окончательно укрепление довершалось небольшим количеством смазывающей мелкие щели между камнями грязи: когда я дошёл до первых помещений, удлинение палками высоты доступных мне мест достигло уже довольно небезопасной границы: ствол был уже небольшим и мог охватиться моими объятиями, и потому достаточно высокое последнее помещение я сделал с узкими частыми, подобными рыцарскому шлему отверстиями, в которых теперь мог увидеть значительную часть леса, что так часто обходил вновь и вновь. Высота захватывала дух и сильно пугала, однако пьянящей была мысль о том, что здесь было безопасно, безопасно именно благодаря моему расчётливому труду, оказавшемуся здесь в нужное время.

Раньше, когда я ещё жил среди людей, мне часто было тяжело дышать: ощущая собственную малость и дурноты окружающих, я старался исчезнуть, перестать существовать, дабы не становиться частью этого общества, такого бесхребетного, слабого, обнажённого пороками и скрытого гордыней: я пытался избавиться от него, да, в существе, всё обстояло совершенно иначе: именно я нуждался в обществе и результатах его труда, и потому, пытаясь не оказываться на месте обвиняемого, коим становился любой, кто дерзнул на взаимодействие с этой обезумевшей тупой субстанцией, я пытался вызывать как можно меньше внимания у этого существа: я тяжело дышал: каждый раз, выходя из дома, я задыхался, ибо пытался не действовать, не вызывать взгляд этого страшного существа: моё постоянное сбитое дыхание было только брезгующим отступанием перед существом, да всё же действия мои ставили меня сильно выше существа; я подсознательно стремился не дышать, не подавать признаков жизни, чтобы существо не обличило во мне подобного себе. Так, теперь я дышал полной грудью: я дышал всем телом, умом и, кажется, душой.

Порой я совершенно забывался за возведением башни: подобно еде, она продолжала складываться и расширяться уже будто и вне моей воли, без прикладывания собственных сил и усердий: я только получал удовольствие от жизни, медленно поглощающее уже забываемые болезненные чувства от прошлой жизни. Постепенно на верхних ярусах башни, куда я забирался довольно редко и с некоторой опаской, чаще только увеличивающей риск, начали заселяться птицы, и удивительным было, что более никто не пытался освоиться в подобном просторном тихом жилище. Животные не были подобны людям: животные не смогут попытаться представиться приличным человеком, а после — отобрать у тебя единственное из нажитого; они не будут притворяться кем-то годами, чтобы в один момент прибрать к себе чужое. У меня была проблема: я не всегда считал и видел то чем-то недолжным, однако, скорее всего, именно это и было главным признаком сомнительного мероприятия. Я не был таким уж доверчивым или ветреным, я не нуждался в общении и не стремился к нему так, чтобы после соглашаться с печальными последствиями того, однако довольно часто люди, коих я одно пригревал, которым я соглашался отвечать, использовали меня: небрежно и невежественно они обманывали меня, скользко проникали в любые щели моей доброты и сжирали всё, что я имел. Эти люди подобны калечным хищникам: они мечтают о плоти, но плоти той не имеют: они не преуспели ни в чём, и оттого считают, будто их желание сожрать еду ближнего, единственного, кто добр к ним, есть вполне обоснованная вещь: то, что должно. И люди эти рушат жизнь добрых и слабых: люди эти хуже кого-либо.

Как Жак боролся с Пеке, я пытался избавиться от птиц, которые всё не падали, подобно мне, под этот поезд нарощего зобом пушечного мяса общества: я находился в некотором пограничном состоянии; я не состоял в таком уж благочинном мире с окружающей природой, но и не мог принадлежать миру людей. Вероятно, я должен был умереть на морозе или одичало кинуться на проходящего мимо грибника, да ничего подобного не происходило: казалось, время действительно застыло; я давно потерял счёт времени, но относительно уверенно можно было сказать, что холода должны были наступить уже довольно давно, да и такое отсутствие людей являлось скорее странным исключением, чем особенностью выбранного места.

Я решил выстроить некоторое посадочное место для птиц: стремясь проникнуть в окошка верхнего помещения, они иногда даже ломали соединяющие их ветки, почему я то и расширил; я смотрел уже увереннее: гигантский столб из земли и глины наконец окончательно укрепил всю верхушку моей башни, вынуждающей меня порой использовать самодельные устройства, похожие на удочки, дабы самому не вылезать в уязвимую пустоту такой высоты.

Камни также выросли уже на половине высоты сооружения, и потому ещё не поздно и уже пора было чуть расширить помещения четвёртой трети башни: аккуратно сделав заранее усиленные опоры, я создавал некоторые промежуточные звенья, на которых уже насаживал

вполне прочно держащуюся платформу из веток: процесс был давно оптимизирован и изучен, и потому я уже не удивлялся тому, что подобное строение держится, хотя то продолжало быть удивительным. Я устроил ширину платформы в пять стандартных и начал заключать всё сверху, оставляя круглые пухлые отверстия для птиц. Сам этаж я произвёл изнутри так же, как и любые другие, оставив выстроенные пустоты исключительно для птиц: сам я уже не мог и не должен был вмешиваться в их жизнь. Сверху пустоты я только едва закрепил, чтобы не делать нижние основания уязвимее. Несмотря на отсутствие ожидания мгновенной миграции птиц на несколько ярусов ниже, я всё замечал теперь сверху только пару птиц, даже несколько приятных своим обществом. Я любил смотреть на них, выглядывая всё новые радужные блики на их перьях.

Порой мне становилось тяжело: мне было плохо, когда я, иногда задерживаясь на постройке одного места, переставал ухаживать за остальной башней, причём проблема была совершенно не в техническом несовершенстве, не в запущенном положении: просто, вероятно, нечто внутри меня противилось тому, чтобы я продолжал оставаться здесь, чтобы не упоминать за расстроенным вниманием всего прочего. Думается, всё всегда было страшно, однако нечто меня постоянно отвлекало: постоянно звонко падающий ко мне свет загораживал жемчужными бликами темноту случайно расставленных передо мной предметов. Башня, кажется, действительно несовершенна, да вполне устойчива, и особенности этой устойчивости меня действительно не интересуют. Вероятно, всё из сделанного было нацелено на меня одного: избавившись от общества, я избавился также и от себя в нём. Страшнее всего жизнь: именно от неё следует отвернуться, именно её следует сменить замыленным фоном, что только окромя станет означать себя.

Я продолжил строительство башни: я довёл отдельные помещения до целых коридоров, соединяющих собой уже комплекс высоких мощных деревьев. Постройка коридора всегда соединяла уже подготовленное начало новой башни, возведённой по уже известному подобию; так, лес со временем стал похож более на город: город, лишённый мэрии, больниц, школ и библиотек: город, принадлежащий мне одному.

Закончилось всё так. Однажды, проходясь по башням, ставшим всё более голодно пожираемым моим вниманием, так усердно отвлекающимся от одних малых деталей, только едва изученных мною и всё же обозначаемых даже недостойными внимания, я услышал тихий, схожий со свиным глухой визг. Я долго ходил по разным коридорам башень, будто соединившим единый звук, и тогда, уже совершенно запутавшись, мне удалось увидеть чуть окрасневшее нерумяное гляцевое нечто, как оказалось, вполне интенсивно бьющееся хлёсткими ударами. Существо имело хитиновые пластины, подвижность насекомого и, что удивило меня более, гигантский размер, совершенно неприличный представителям подобного

вида: в тот день в одном из первых ярусов первой башни я нашёл чрезвычайно крупную креветку, замазанную грязью собственных нечистот, мешающих тогда рассмотреть детали анатомии и головы. Робко косясь и даже чуть побаиваясь вторженца, я начал пытаться касаться существа палками и листьями: я обнаружил, что существо не только не против, но и сильно за вытирание своих красных пластин листками; не думаю, что оно нечто чувствовало, однако вид вычищенного панциря доставлял существу видимое удовольствие. Глаза его блестели, а рот после жадно устремлялся к листку с нечистотами, которые я сперва робким броском доставлял в её рот, потом уже привыкнув и кладя листы без какого-либо опасения. Месяцы или годы я обучал медленно растущую креветку строительству башни, и со временем она заговорила: речь её становилась всё более схожей с человеческой, и даже конечности, кажется, в какой-то момент соединившиеся в толстые опухшие отростки, начали разламываться в сперва ветхо пошатывающихся суставах, сходных с человеческими.

Креветка превращалась в человека, и факт этот я пытался игнорировать до тех пор, пока она не начала говорить со мной уже на моём языке. Я не знал, что ответить. Возможно, то и было логичным окончанием мира, который я хотел установить. Избавившись от общества, я также как бы избавился от смерти, что, разумеется, невозможно. Так, я сам создал себе должную замену, способную бесконечно возводить новые башни: когда же деревьев более не останется, моя замена начнёт рыть, возводить сооружения в воде и писать. Бесконечная деятельность продолжит мою фантазию, она продолжит столь усердно желаемую мною некогда глупость. Душа животного в их плоти: если животное станет человеком с бессмертной душой, оно станет человеком с бессмертным телом, что не будет способно умереть. Существо это не будет иметь возможности попасть в Царствие Небесное.

Густые клубни опухшего иглами вздёрнутых острых цепей неба сдавливали пустоту скроенной синими черепами земли: сдёрнутое чернотой охудевших дыр лицо моё смотрело в пустоту комнаты: туда, где раньше мне мерещились галлюцинации; вероятно, то время было лучше. Комната серела окоричневевшими стёклами падающего ко мне ветра, я прилипал к маслянистой твёрдости состаревшегося сглублёнными ямками пола, и даже осветлевшее бледными пятнами улицы окно оставалось неизменно тяжёлым, оно вправляло в меня только более страха, не первобытного, но самого глубокого ужаса.

В окне я вижу и видел не только плохое и не только хорошее, да отчего-то всё же я сделал решение: у этого было вполне полное довольное объяснение, однако порой, испытывая чувство положительное, я одёргивал себя, ясно ощущая плоть чем-то подобным, как и вещь должную. Возможно, я проклят. Возможно, прокляты не земли эти, но я, и проклятье моё есть жертва.

Человек отвратителен, и жертвующий способен опустить мучительный душам период земной жизни не только из благодушия, но и из вполне естественного внутреннего противления человеку, что породило большую здесь и меньшую вообще часть из меня. Возможно... вероятно, человеческий мир, само человечество было бы пригляднее в облике смоченных своими нечистотами голубых трупов.

Зовут меня Сергей Роса.

В той непостоянной, вечно прменяющейся скорее человеческою моею слабостию зыби духа за два месяца я истощал верой: полнее будет сказать, что истощение телесное превелось на дух, и потому я во всём сомневался: потому я вспылл на резаков, потому я относился к Николаю с почти надменною апломбовостию, и потому изучения мои, кажется, отошли ото несловесных молитв: я действительно искал одно средство занятию времени: пустота в вине за смерть Лидии казалась мне мучительной, и оттого я занимался этим: нельзя окончательно утвердить, что возникающая слава не пьянила меня: несмотря на то, что я не видел всех тфальристов разом, не мог объять распространение Тфальры, меня прельщало, что люди эти есть мои последователи и что число их росло для меня, хотя пока и сокрытыми масштабами: то ещё наделяло некоторый толк моим занятиям, однако с остепенением всё более дела мои казались изрядно малыми, удивительно бездельными и даже праздными, хотя все собственные ритуалы мы продолжали: спорт становился для всех уже очевидно благонравным делом, и то, что вызывало сперва даже лёгкий умильный смешок и у меня, исполнялось теперь значительными группами в почти аристократической холодной рассудительности: всё более это нарастало искусственностью, и всё чаще соседи мои за гордостью за первоприставление ко мне замечали, как положение это им неудобно и неприятно: дом стал чем-то странным, всё в эти два месяца казалось мне ненатуральным: я видел устройства резаков, однако в полной мере не мог понять, что есть ересь в Тфальре, имеющей те же основания ереси ото Церкви: я видел это, но пресекал, подобно школьному учителю, только внешность: работал исключительно со следствием, и то меня, конечно, опьяняло: разгул моих вещей был радостен за пробившеюся стойкостию духа моего: я всё сильнее отдалялся от настоящей веры, всё более уточняя себя в одно исторических фактах: смерть Лидии была тяжёлым для меня событием: вероятно, моя вина в том и стала причиной всего, что я после допустил.

Одеревшиеся кислотами, остывшие хладом приложившихся-де во станостях ослабленностей моих звёзд света: то есть яркие, дубеющие силою во человеческом, и те-де, и то... я просыпаюсь: отяжелевшая лёгкостию сна глава уверенною оследовательностию пребивалась выше, и тишина комнаты: комнаты, отставленной во золочённостях утренних, воновиново проникнувших чорез словно нарочито оставленные, обыкновенно единственную строгостию одёрнутые к себе шторы лучей: я встаю с кровати, и мышцы мои постепенно

вспоминают бывшие напряжения: они оздоравлиются силою прежнеею, и глаза мои оборачиваются изначною негорячею чёткостью: я не испытываю нужды: подле кровати моей положится бутылка воды, которую я смиренною нежадностью спиваю и причиняю обратным местам своим: полузакрытыми глазами я охватываю мягкий чёрный, свёрнутый ополненною трубкою коврик излишней, встречающей одно в специальных означениях положений тоих твёрдости: веки мои осмеляются противляться ярко отражающемуся совершенною непривычкою к тому, и опухшими жаром ночи ногами я ступаю на холодный, положившийся теперь напротив двери коврик: семь минут уже оследовавшей за собою мои обильные потения растяжки сменились началом интенсивной тренировки: первые восемь упражнений проводятся без дополнительно веса и перерывов на протяжении шестнадцати минут: продолжается тренировка рывками образовавшейся во комнате моей осредством поддержки дмитриевцев, также разделяющейся в разное время разными соседями гири в тридцать два килограмма и отжиманиями на одной руке и на больших пальцах: завершается тренировка трёхминутным джампингдженовым особлением следующихся питаний: во конец её я оставляюсь в комнате в совершенных бездействиях: с три минуты я восстанавливаю дыхание и обтираю тело оготовленным мною заранее, остираным крайний раз уже довольно давно полотенцем: утренние тренировки только незначительною частью своей оставляются несловесными молитвами: более мне это ноне помогает собраться трезвым умом и означить будущие дела: еле облевшие в отдельных упражнениях, не способные стать привыкшим окончательно к подобной нагрузки ноги ещё чуть содрогаются к тому: дыхание восстанавливается: осноющая кор кожа моя преливается уже крошечною, еле играющею одле срябевших пестротою редких, одно чуть заметных окраснений мышц складкой; я допиваю бутылку воды утреннею нормой и отправляюсь в душ: во время это никто ещё не просыпается, и потому обыкновенно я добираюсь до ванной комнаты во одиноком спокойствии с полотенцем и одеждой, однако теперь: сверкнув ощёлкиванием двери, я касаюсь холодного, сильно пребывающего на фоне облитых усердными трудами теплот моей комнаты воздуха коридора: вношняя темнота его смирялась светом первого этажа, откуда еле сверкнуло иное хождение: я ускорился и скорее необъяснимою неловкостью преместился к ванной комнате, хотя рассудком того нисколько не стыдился; исполнив утренний обязательный гигиенический, довольно скромный во конечиях своих всё же ритуал, я вышел в коридор и уже нарочитою осмотренностию направился взглядом к первому этажу: там действительно кто-то в значительном числе бродил, и потому после навещания своей комнаты я вышел с лестницы: непродолжительная, словно ожидающая нечто тишина второго этажа остановилась частым, пробивающим во неполнотах скромностей нерешения оклика али шёпота обращением ко мне: почти сразу выходы с лестницы окружили одетые обыкновенною скромною чернотою

спортивных костюмов высокие широкие дмитриевцы: числились они в общих значениях до тридцати пяти, и почти всех из них я хорошо знал в лицо: за ними отстояли соседи, сворачивающие граничия уже условными рядовыми, оказавшимися здесь по, каже, нарочитой наводке Николая тфальристами; полушепотливым заинтересованным криком они с чем-то начали поздравлять меня, да одно к третьей минуте того поздравления поняли они ясно, что я не понимаю причин того: непродолжительною загадочною удовлетворённостью они снова заулыбались и обратились к Николаю, незаметно и мне отстоявшемуся у выхода: во дрожащей тишине этажа он прошёлся сквозь расступающуюся толпу и встал предо мною. Во мгновение это Николай мне показался Дьяволом. Окрасневшие возбуждённостью шеи его дрожали в испарине ожидания: жёлтые болезненные глаза казались смиренными и показывали знания, что я успел в него произвольною ошедшеюстю заключить: одет он был в пошловатое подобие кафтана: волосы его были выбриты, каже, прямо перед тем, и руки его дрожали: руки его были особенно сильны, и выдающиеся крупностию суставы чуть отпугивали меня: для остальных он выглядел сейчас, кажется, совершенною смиренностью, совершенною приличностью человека, даже православного христианина, да он: он теперь мне виделся Дьяволом: не бесом, не чертом, но Дьяволом: Дьяволом, что орушил прежние порядки, Дьяволом, единственно возможном во искусственности собственной: Дьявол: Николай стал, каже... Дьяволом... Едва отмеченною тфальристами излишнюю задумчивостию я едкою ненатуральностию улыбнулся Ему и протянул руку: я согласился с чем-то, однако не знал, кажется, с чем: общею опьянённостию толпы мы подвинулись к выходу, однако уже в ещё далёком приближении я понял, что не готов выйти: не готов не только из одежек своих и неподготовленных документов, но и не хотелось мне идти за Николаем: в тихом отхождении во обратно, во комнату свою, я услышал, что идут и ждут тфальристы первую общую лекцию: лекцию, где впервые будут все тфальристы: поднимаясь, мысли те ещё звенели во мне неясною подозрённостью, однако я не хотел разочаровать тфальристов. Николая разочаровать я был бы рад. Подойдя к выходу через пять минут с дипломатом и в одежде, я заметил, что решительно ничего не менялось: будто никто и не шевельнулся во тоих робких бездвижиях: будто одно Николай прешевеливался среди прочного остояния: не глядя на него, я устремился к выходу, и то он, что я заметил только сбоку, совершенно не понял, ожидая, кажется, великой хвалы ото меня: я шёл к двери, ощёлкивал её вскрыванием и оступал к улице, и всё во время это звучали самые различные, самые распространенные и в желании быть услышанными голоса, кои я частым пренебрежением не слушал, да... да в том я слышал только едкие охрустывания манер Николая: как он нелепою возмущённостию крикнул, как неуверенно шоркнул носком ко мне и как пытался оправдать моё поведение обращением к случайному тфальристу во придумывании назначения; я вышел на улицу: уже значительно отяжелев

неожиданностию, в частых птичьих освистываниях я увидел целые гряды людей: по обе стороны дома, где, казалось, никто и не мог никогда поместиться в таком числе, я видел превышающие значительно находящуюся на первом этаже толпы людей, многие из которых полагались у дороги или совсем вплотную к забору; острые, преходящие во жиреющие тяжелениями немисли глаза мои уже ясною болезненною резью лучи солнца ошивали меня, и отчего-то в той совершенной необдуманности я решил это должным: я решил должным во нервическом сбиении дыхания не поприветствовать их и даже не осудить последовавших после, довольно глубокий поклон их мне, после чего Николай трусливою мокрую, что я ясно понял по её затхлому запаху, ладонью приложился к моему плечу и сказал, что то всё большая часть некоторых сегодняшних: акцент тот на незаконченности их чисел меня окончательно взбудоражил, и приподнятою апломбическою нечестностию я оставил его реплику и касание во молчании и прошёл дальше: Николай ещё пытался во пританцовывании чуть остановить меня, однако после одно стал направлять меня чуть спереди к назначенному месту; начиная идти, я ещё не понимал, что есть некоторое назначенное место: все действия те происходили скорее во трусости природной моей и самом честном страхе, и в прокажённости духа того отчего-то возникли во мне гордыня и позорный аристократизм: отчего-то я посчитал это должным: отчего-то во стыде посчитал приличным продолжить ту игру в свою надменную уверенность, когда во сердцах я предпочёл бы обратиться ко всем родственною простотою и поблагодарить за присутствие здесь, означить моё удивление, да: да в молчании я продолжал следовать Николаю, и постепенно люди начали переставать говорить: то ли перестали они радоваться мне и происходящему, то ли нашли то единственно приличным подобному ходу, однако шли мы в совершенной тишине: я не знал, сколько человек за мной следует: видел я одно трёх охраннически отстоящих ко мне дмитриевцев и Николая, за чем шепотливым тяжёлым гулом продолжались частые шаги; я не мог представить все те значительные группы людей во едином шлейфе: то, кажется, даже пугало меня, хотя и страшно интересовало: обернуться же я не мог: то казалось мне тою же недопустимостию, что оголить обман своих чувств, показать, каков я всё же, и сколь я человечен на деле: мысли эти укалывали меня и были болезненны, да я продолжал идти: овеченные яркостною, оворачивающею самою приятною, обретшею прекрасные, овевающиеся приятством прочних столкновений запахи новиною виды пребывающихся соменённостию улиц такую радужною нетвёрдостью оказывали давно смотренные оболочки вполне заурядных, много облупившихся и часто негодных, да обличённых подобною медоватою честностию ко тебе и времени тоему зданий, и всем тем я был бы способен наслаждаться в иные ослабленности, однако я был занят нервическою дрожью: всё во мне содралалось великою болезненною искрою, и тяжёлым даже казалось дышать: я случайно следил за каждым вздохом своим, дабы вздох тот не являлся

излишно громким, обнажающим мою нервозность, хотя о том подумать, кажется, не мог совершенно никто; половину пути виды предо мною белели в пеленах случайных одумываний о числе людей, пред которыми мне придётся выступать, и выступление я уже посчитал отчего-то должным: должным, хотя я не соглашался на него, хотя я даже не в полной мере могу сказать, как и с чем буду теперь выступать: во нервической болезни я шёл, каже, примерно с сорок минут, как шли и встреченные мною с дома люди: никаких особенных знаков в уже ясно обличаемом грузностию свернувшейся в сколиозных ослаблениях походки унынии Николай не давал, однако мы прошли во довольно замкнутую промышленную зону с разрешения кивнувшего чуть Николая и улыбнувшегося мне, пошедшего далее вослед за нами редким неучастным отношением во ту сторону охранника: свернув за тремя поворотами, оперво я увидел вполне гигантское, комично означенное простотою формы строение параллелепипедных остояний, одле которого были три группы людей: группы эти, кажется, превышали своею численностию численности групп шедших сюда, и с тех пор рассудок мой окончательно пребился пленою ужаса: ужаса, что я умом своим совершенно не разделял, однако ужасом, что помешал мне понять, как и куда я вхожу: чуть оспособливая в том и улыбаясь, я каким-то образом проник в ангар и был оставлен Николаем к положившейся на возвышении трибуне: некоторое время люди садились в зале явношевеленными во скрипываниях стульев местами, однако в зал я не смотрел: во мгновения в лицо моё ударялись яркие лучи монструозно полагающихся ко мне софитов: я старался не смотреть в те режущие солнца, и впервые я рассмотрел ангар этот: он казался мне по-гадкому гигантским: положившийся в сокрушительной долготе ото меня в высоту пятиэтажного здания потолок держался во странных, устроенных крупными ржавыми, часто скрученными во одерживаемых нестрогостию внешней хлипкости болтах балками конструкциях: стены ложились в частых уродливых разводах, и сами верха тои казались совершенно неприглядными: случайною сбивчивостию взгляда я сверкнул глазами вниз, однако не в зал: не боялся я осмотреть пока только бока, и низы стен оказались удивительно приличными: бежеватые остения ангара были добро вычищены и даже редко сияли прочностию вношних красот: то оголялось некоторою излишностию, и я был готов снова удёрнуть пята свои ко верху, как шум из зала притих: Николай подошёл ко мне и окрыванием движений губ своих залу во держании другой рукой планшета с пустыми листами улыбнулся мне, сказав две вещи. Всё подготовлено. В зале пятьсот человек. Последние слова его орезали меня тупым ударом в висок, и я почти зашпателься, сумев вконец смирить то со неслучайностию приставления к трибуне: Николаю я снова не ответил, и тот, кажется, оттого даже еле заметно топнул ногой и нахмурился во невидимостию другой строны зала; совершенною задыхаемостию я перевёл глаза к залу: взгляд мой, кажется, виделся всем уверенным и смиренным, однако только такой вид его я мог

сохранять в сокрываемой за трибуной, заставляющей опираться одно руками на неё за вношнюю гримасою суровости дрожи ног своих: зал кишел людьми: они все сидели улыбочивою внимательностию, и все те чего-то от меня ждали: вдруг за спиною моею что-то хлопнуло, и оказалось, что гигантская, полагающаяся почти во всю высоту пятиэтажного дома ткань белого цвета раскрылась еле продолжающимися робкими шевелениями: на ткани той была Тфальра, какую я некогда доработал и показал Николаю. Во мгновение то я был готов изничтожить Николая: резать, избить, удушить его зачарованный, снова улыбающийся во отдалении с левой стороны вид. Я повернулся обратно: к трибуне, на которой, как после оказалось, также была изображена Тфальра. Я глубоко вдохнул: точнее, попытался глубоко вдохнуть в той немощи горла: я задыхался, дрожал и потел самою явною краснотою, и отчего-то в тишине этой мне стало так дурно: так плохо и мучительно, что я сам пытался отвлечься от того; рассказывания лекций всегда меня успокаивали, однако никогда я не рассказывал её одновременно аудитории в число более пятидесяти; сейчас я ещё не понимал, что многие из присутствующих в зале не были тфальристами: то были только сломленные, больные унынием люди, что испытывали любые средства случшений своих состояния и предмета: они пришли сюда, чтобы испытать один из способов избавления ото той боли, в которой они существовали, однако сейчас я это ещё не понимаю: я начал, казалось, произносить привычное приветствие во лекциях своих, и голос мой отчего-то был особенно тяжёл и точен: видимо, то было следствием совершенной моей внутренней болезни, однако, судя по лицам находящихся в зале, тон и тема мои аудитории почти сокрушили крайним приятством, крайним оправданием их ожиданий: оканчивая приветствие, я едва уже дышал во оходящихся жирных потах ото спины своей, однако отчего-то так легко было сменить тон на более гладкий: отчего-то так повезло мне не замяться и не закашляться, что я начал обыкновенную свою лекцию: лекция та не имела прежней стройности и казалась специальной: столь усложнённой, что редкими пониманиями хода мысли моей аудитория ядовито оживлялась и произносила иногда редкие овеселённые реплики: стройность эту я всегда считал ненадёжной и дурной, однако она была сейчас скорее средством: я не мог расслабиться и говорить привычное себе, и потому придерживался именно такого хода: пропустив за тем оподобленные очаянностию сложения части лекции, я смог наконец случайною сложивостию ошедшихся подходящестию слов и способности говорить обыкновенною должностию, и так я начал привычным смирённым тёплым оговорением лекцию уже с тою частностию, что учитывал вношнестии за упоминанием числа аудитории, новины мне того положения и особенностей говорения во подобных условиях: так я вернул приятственную мне теплоту ведения лекции, и с тем же снова сменился тон моего говорения: дважды пременив его, я, кажется, совершенною случайностию расположил к себе зал последовательностию академической манипуляции: овладев наконец и

темой, и словом, и уверенностью, и человечностью во себе, я стал допускать уместно обивающуюся во пытаниях образовать новое, как раз и являющее мою особливость в качестве проводящего совместные занятия знание шутку: довершило всё бутылка воды, которую такую улыбочностью передал мне Николай, что и я сам ему улыбнулся, и будто даже я был благодарен ему теперь, однако ото того пока внутренне отказываясь; холодный, освобождающе пролившийся в, каже, вовсе во одубевшие твёрдостью раны за те непродолжительные превозмогания горла мои глоток воды омертвил прежние сомнения, и теперь я чувствовал себя столь же уверенно пред половиною тысячи человек, как чувствовал ещё вчера на кухне во вопрошании об уже затерянном во тех оствениях знании соседа; я говорил лекцию: говорил, и со входящимися во попытках ояснить нечто и себе словами я всё яснее устремлялся в зал: стулья стояли удивительным порядком, и решительно никто ни на что не отвлекался: все слушали даже смущающею меня внимательностью, и оттого во мне становилось приятно: мне было хорошо, и все три часа лекции я провёл почти на одном дыхании, главным было, что слушающие также не устали: не начали спустя полчаса ёрзать и зевать: аудитория была оживлённой, и в завершение я даже устроил удивительный мне самому своею обширностью интерактив со пришедшими сюда; ещё час активных разговоров приставился окончанием, хотя был только час дня: желающие могли подойти ко мне и обратиться во собственной частности, и оказалось даже, что подошли почти все: то заняло ещё полтора часа, физически я был уже совершенно изнеможён, хотя и находился в одрожающемся раже: я был сильно остимулирован, и оттого мог, каже, рассказать ещё с десять часов лекций, да решил свершить всё скорее формальной пятиминутной, оключающей в конце соревнование на планку разминкой; во обращениях ко мне многие даже уже бывшею действительностью глубоко кланялись, да я тут же прерывал то и кланялся в ответ: на шутки я отвечал шуткой, а на серьёзное вопрошание давал те ответы, которые мог дать; все были столь добры и честны со мною: так они отдавались происходящему, что даже сам предмет, который, конечно, всё же в том вполне присутствовал, был не так важен: та человеческая общность, те свет и тепло во человеке позволяли мне весь день одевать то во гладе за только редкими глотками тёплой воды: так во мне сокрушалось прежнее уныние, что я был готов продолжать: был готов рассказывать и помогать, пока не свалился бы без сил, да объективные способности мои сокращались: я становился невнимательным и непоследовательным, однако того никто не чувствовал; из аудитории мне удалось поговорить и с людьми образованными, даже религиоведами, и те хвалили меня, даже иной раз остыжённою оставленностью возвышая во одного из значительнейших властителей дум, хотя кружок наш был довольно закрыт и никогда я не стремился образовать собственностные значимости для отдельных представлений: вероятно, религиоведы были довольны ещё и степенью условной объективности, что могла бы сказаться

моим оговариванием особенностей Тфальры, её взглядов, кои я не озвучил из незнания положения совершенно новых людей здесь, что, впрочем, было довольно очевидно; во огасающих оранжеватыми огнями светах дня люди расходились, хотя делать то не желали: занятие заканчивалось, и оставался в том один Николай: один Николай, столь неocenённый и скромный, оставался без внимания: он был уставшим и огрустневшим, хотя явны были его радости за происходящее: в тишине, которую он не полагал прочею ценностью во отнышних уколах моих, я смотрел на него с пять секунд: с пять секунд, после которых я подошёл к нему и впервые тепло обнял: я был благодарен ему, и он тут же огорячел неготовностью такого отношения: он пытался сдерживать плачь, да частые всхлипывания оставались мне видными: чтобы прервать стеснённую такую чувственностью сцену, я предложил ему убрать стулья, на что он ответил, что уже нанял рабочих, часть которых выходила с пока неизвестной мне комнаты с бока ангара: я поблагодарил его и ещё раз обнял, сказав, как сегодняшний день был важен: подарок его сделает лекции мои в доме ещё лучше, и прежнее уныние моё растает, и говорил бы я и в том изнеможении ещё долго, да Николай: Николай сказал мне, что недавно Тфальре пожертвовал один из тфальристов большие деньги, и теперь целых полгода мы сможем раз в три дня полагать лекции именно в этом ангаре именно с помощью рабочих и охранников. Попав домой, я непривычною праздностью объелся и тут же заснул, проснувшись уже ночью. Через неделю я уволился: я предложил Николаю положить пять с половиной месяцев лекций, тот относительно незначительный денежный промежуток положив на моё питание: так, я всё это время мог посвятить занятиям. Действие это было скорее импульсивным, и Николаю в неожиданности принял это предложение: отказ от учительства был для меня крайним переломным моментом, однако то я не ощутил, с довольно холодной рукою попрощавшись с детьми и с коллегами: многие отчаивались и даже плакали, да я ничего не испытывал: за эти пять месяцев у меня была задача: задача дать Тфальре то, что я не дал до сих пор. Признаваясь во сердцах, тогда я совершенно не думал, будто могу прожить долее тех пяти месяцев: так меня опьянила лекция в ангаре, те самоотдача аудитории и мои собственные, овышенные в том способности, что я не мог думать о будущем. Смутившая меня ткань со распечаткой Тфальры со временем стала даже приятна: мы любили её и лелеяли, и я даже почти не укалывал Николая в расточительности на то. Несмотря на кажущуюся невозможность этого, людей становилось всё больше: многие теперь даже стояли или собирались совсем кучными сиденьями. Я не знаю, что применял Николай и как он находил людей, но я был ему благодарен. Благодарен, хотя и подозревал за тою опийственной радостью его обман: обман, что я сам не хотел обличить.

Желтеющие розовины белёсых восставленностей отпадений ото истинностей оревающихся грозностями ввершающихся долгостиями преведений форм однозначно

срезаются ко мне, и ноги же мои: чувства же мои: способы юношеских бродяжнических составленностей: казалось, привычного числом чувства я был давно изъят ото одних способностей, однако: однако всё продолжают лекции мои, и уже третий месяц я остязуюсь должностями работ: и даже в том, что, впрочем, было изначально ясно и совершенно прозрачно, обнаруживаются во мне кажестии самых незначительных возрастов или; овисая ногами, я упираюсь о шаткую, едва вовсе причинённую узким ветрам вправлений балку: окончивши лекцию и окончательно распрощавшись уже точно со всеми и даже с Николаем, такую неизменною продолжающим помогать мне и, каже, даже более, я обошёл ангар и нашёл участок почти отсутствующей эксплуатации во обращённостях тоих подвальных омещений: чуть заходя в бетонное, огороженное оплесневевшими выпцветаниями лентами сооружение, я увидел остоящие полусгнившю твёрдостью широкие плотные доски, кои расположил во взаимном, всё ещё едва ли оходящемся ко приличностям собственных пользований упоре стен: незначительно порезавшись о грубости орывистых пустот, за которые сверху я ещё мог зацепиться, я выдающимся упорством устремился к верху: одёрнувшись плечом, я положил себя к месту тому и удивительно ловкостью перебросил остальное тело уже к крыше невысокого домика: немного отойдя к безопасному месту, я сел и устался и нонешнестью в сторону ангара: рокочащие темнотою отблески заката во ангаре оседали во моих онемевших конечностях, и негрубости оболоч, каже, даже совершенно лишились любой мысли: я не думал о будущих лекциях, как не думал и о молитве, будто вовсе то уже не содержа в себе: кажется, сейчас же я более всего честен в исполнении молитв собственных и более всего создаю полезного другому человеку. Увольнение было действием самым неожиданным, однако быт мой очень скоро наладился. Николай отдавал мне часть с пожертвованных денег, однако я почти ничего не тратил во надежде продлить хоть немного возможность рассказывания лекций. Общий остов занятий, кажется, особо и не изменился, хотя за тем людей становилось всё больше. Сегодня я неожиданностью негодования даже заметил, как приходят на лекции с детьми, что, общем, несколько противостоит целям моих занятий. Теплота во лёгких моих особенно приятна сейчас, хотя и чуть восставшее во мне большестию обособления ото соседей одиночество часто обнаруживает номинацию инозначного явления молитвы моей, когда сам же я означаю то единственностью прагматического. Ем я всё скромнее: кажется, часто и вовсе забываю есть за энтузиазмом, за этим жаром оприятия: я не нахожу желания, и потому полноценным постом то нельзя назвать; на лекции уже действительно регулярностью ходят учёные, что даже неуверенною признательностью говорят о наших занятиях; многих смущали странные внешние свойства наподобие гигантской Тфальры за мной, да во конце все убеждались в благостях деяний и моих намерений: чем больше стало людей, тем меньше вольности я могу себе позволить:

вольности именно во значениях умствованных халатностей и недоработок; именно потому я не видел уже никаких возможных отклонений ото задуманного: всё я исполнял крайностью ясности ума и молитвы: во всём я видел Господа и во всём мне становилось хорошо: за хорошесть эту я нередко чувствовал иступлённую, ясно вдирающуюся одлительностями ослаблений Души вину, однако после чувство то обличалось во особенные усердия, и последовательность эту я не считал недолжной; вдохнув особенностью глубины воздуха, я спрыгнул: спрыгнул необдуманно и дерзко, почему во ногах моих ещё с минуту гудела еле сходящаяся продолжительностями вопьяний сердец боль: дойдя до края ангара, я обернулся, и ангар этот: место это казалось таким близким, таким простым и спокойным. Чувствительнее всего человек, что стремится избавиться от Беса и пойти путём праведным, часто чувствует именно коренные изменения в обществе: даже в мире, если масштабы дальнейших событий и справедливо определить любую отношённостью ко любому явлению. Никто так и не узнал, почему и отчего то произошло: то совершенно выбивалось из должновений действия: то не должно было происходить, и происхождение это стало обухом даже самым структурам жизней моих, однако то свершилось. То свершилось и продолжилось на полгода. Полгода, что я был заточён в дровах воспалившегося иначностью сверевающейся грозностями стен отодеянностей вершений оболочки черноты бетона.

Работа моя формой своей весьма заурядна: прерывающееся на физические занятия сидение за ноутбуком редко сменяется непрочною иных действий, и во действиях этих я всегда одумываю должностии ветров, запахов окон и чуть просачивающихся долготами велений деревьев. Я знал, что Николай мне в чём-то врёт: я не мог этого не знать, и потому ум мой, кажется, предполагал только самое безобидное из возможного: я думал, что из собственного кармана он тратится на рекламу, что вложения его материальные прекрывают иные приличности: то было мне страшнее всего, однако ложь я не мог считать справедливым. Мне казалось, что все знают, в чём мне врёт Николай, да я никого не спрашивал: я видел приподнявшиеся желанностями восклицания верхние губы, однако: однако я ничего не спрашивал. Я ничего не хотел знать: может, я и боялся узнать что-либо.

Лекции проходили. Я читал, переписывал, думал, тренировался и читал. Я молился. Я трудился. Каждое мгновение жизни моей было ополнено смыслом и должностью. Тфальра росла. С ней рос и я. Я становился с каждым днём лучше как христианин: с каждым днём всё прочнее во мне было чувство, будто я тот, кто имеет право назвать себя христианином. За время Тфальры и во самом основании его происходила множественная, часто повторяющаяся одурственностями скорее случая глупость, однако я не сдавался. Каждый день. Каждая минута моей жизни была частью плана. Никогда я не был так глубоко и ясно счастлив, как сейчас: сейчас, когда на номинированное отдыхом не было времени: сейчас, когда

ответственность во мне полагалась предельная: сейчас, когда тела мои: когда здоровье моё здоровее иных же. На лекциях присутствует по шестьсот человек регулярно. Некоторые также приходят только после: чтобы задать вопрос. Появлялись во делениях тех странности, когда отдельные люди вовсе не ходили на лекции, однако отчего-то предлагали мне дать им руку для поцелуя, от чего я пролетарскою небрежностью к нежностям отнекивался; были и те, что словно не слушали, хотя и не были резаками: они одно, каже, молились: просто находились на стуле, и против того я также крайностями волий не выступал. Общем, я и не имел права выступить: тфальристы есть такие же люди, как и я, и потому я одно могу предположить: предположить, дать или предложить, однако не наставить окончательно. На лекции стали приходить студенты: умы совершенно свежие и даже излишно острые, однако трепет их всё же обличал действительности внимания ко делу. Ответы им были мне особенно интересны. Николай всегда сопровождал меня влюблённою улыбкою, а дмитриевцы действительно стали чем-то наподобие частной охраны. Дмитрий же покойно был всегда рядом: он помогал иногда не менее Николая, однако всегда находился в тени: его монструозный размерами облик, кажется, даже увеличился: мрачные глаза его чернели пустотой ангара, однако он был хорошим человеком, и то я знал.

Я находился во делениях радостей. Уже довольное количество лекций и ответов я произвёл крайне довольному числу обычных людей и тфальристов: я был просто рад: просто доволен своими занятиями, однако: однако нельзя было не отметить, что я действительно приближался к истине: казалось, времени, что мне отмерено тем добрейшим меценатом, я сумею свершить переворот: я чувствовал: я чувствовал что-то новое: открытие, совершенно новое нечто, да...

Окончивши писать, перед сном я обратился к новостям. Через восемь дней я отпал от интернета и любой информации вне Писания и молитв на целых семь месяцев. Я хотел разбить ноутбук: я хотел антропоморфизировать его наличность ото субъектностей тех знаний, однако я не смогу. Каже, не впервые я увидел и услышал смерти: не впервые я столкнулся с тем и в нашей стране и во ближайшие лет пять: то было даже частично заурядно формульностью заведомо известных форм, однако: однако так всё сложилось: так всё совпало неожиданно: такую неожиданную гладкостью всё сложилось, что я был сокрушён: я был опарён гнилотами болезни, и болезнь эта пожрала меня навсегда.

Отравленные телесноприпадённостноеными ворениями пестревающих злечениями дубевавшихся, опрашившихся желтовинами восстающего ко назначающимся дростенностями впарившихся темнотою входящейся ко гурбностям вотнепрекратимых становлений присоставляющегося одолженностями штурмеющихся опланов ввёрнутых окончательностями шумов вождеющейся угулениями приставляющихся ото лдяностей

оставляющмхся зобностями срешившихся иначнопоможностными остремлениями падавевшегося охранённостью неоткрываний ото решённого ооскабленностью смешившихся тяжёлостями первобеленных наречений пешеваний преходящихся простенностями наделений довшеющихся ко рязинам остевений прокупляющихся гостенностями лозеющихся, припадающихся ко решениевосставленному древенению окрошающегося, дубеющего выполненностями въявившегося оставленностью человека-де во шевелениях преливающейся готовностью вречения истин особственных цеведений ополненностей решившихся назначенностями ввелевающихся прочностями отелесневевших зудов вотравившихся горевиями ласканий оздушных, устроившихся здесь жаблениями воявившихся хоревистиями вопоминаний третиеповлечённых, ластеющихся ото вособственных чернот возрастившихся тою же свештённостью озвучания свеняющейся оплотнениями свершившихся жестениями вношнеузнанных положенностей вопиявших ото нонеставленных гашений свивающейся крапинами всталенноестных различнодарственных, свестящихся дожениями свестяющихся доления обухших пиохевными язвинами трещин ко рубеностям отнепривелевшихся здравенностью одневновопытанных крещений оцерковленных таинств во ложбинах тел инородных скажённых-де во оростах пришевеливающихся долженностями невмеченных, оздавшихся орядочностями приелевенных жостениями окереющихся чубаниями оставленных плотностями неучитываний же оединственных сил церевот знаний нарицаний оспалений кож краснот развитий планов слизи рельс телес материи древ совешений прерываний горячей осадков мест ложбин желтизны чувства времени постений горев истин скальпов влияния взора восстаний ростин рокотов черноты дел движения смерти видов освобождениям омрака плотей розовины во одожениях Тфальры-де и занятий её ото глориановых, состоящихся предападущимися, взвучающимися ко белениям ввершившихся, должновенных орядочностями оставещиеся звечённостью преходящего гладкостиями одлежных плоскостиям обращённостных же, опавающихся значностями уродств во человеке ото несовышеенных делений обмясных кровочтенных улыбаний тела встевающегося ко перешвеющемуся гурдяностями присталяющихся долготными положенностями креведившихся плотностями успений во оживлениях сдевившихся жердений пребывающихся оправениями орокучущихся, достевающихся древянностью орываний воложившихся чернотой взбухших-де совеч искристых составленностей ворешившегося ведениями остающихся, значивающихся омыслами временепродолженных воспалений отравленной, свершенно изъятой во мгновения те достениями значивеющегося, редко ударяющего хлипкими глухотами немоты во опрестенных же неприсутственностях осевшихся ястностями вбавления окроенных присутственностями сшевеливающегося назначностью устремляющегося во галлюцинацию темноты ото блесков холождающегося

горячими побреведившегося оспами оследовавших жарностями овершающихся прочтённостями свесившихся-де ласканиями проказившихся долготами наречений во тоих же свестениях оправившихся дрожиями синхронизаций ото отлишенного восставания грубот вопьянствующихся озвучаний пристающихся оплаченностями нашеющихся славностями непрекращающихся, опревеющих человеконаделённости вознамерениями ото гурдяностных неставлений означающихся причинённости выпадающихся, казившихся плотиями несостевенных же нетрав сходящихся оживлённостями тишины преливания приставляющегося во материи ровненностями экфрастических же настений дубений отяжелевшего, кревеющегося остроенностями спревившегося газовостями озвучившихся жирнениями неохождённых введений во ведениях превиившихся размерностями иначновосставленными во продолжающейся гуляниями остоятельно вестеющейся дуренностными же ряботами прилевшихся хождённостью присутствий впарившихся одле отшибностями лостеющихся зобами уродств человеческого ото мги комнаты моей во полоодовые те ужасы, свершённые, еревшиея случайностями восставаний проказившихся хрипотю еле стяжающихся ушами во воздушностях олёжанностных возложений белений должновенно привлённых шепотливостию злокачественного, проставляющегося ко человеку ото мги черноты смерти неверия того во-де нароста телес окриков усилий становления темноты комфорта мест отрав тени тишине гор настаний пренаселения бетона озвучка опахиваний движений горений рокотов блаженств колебаний зевений принятий убиений уколов ада бреда вида осна тел кож оправления Души престений окончания оправленностями наделений ото где глаз оружий хладов дрожей отдыханий гулов сокращению вохождений вочитаний света вопоминаний щедрений ударами перламутров.

Одиннадцатого апреля произошёл теракт: точнее, один из крупнейших во страшной последовательности терактов. На протяжении недели во каждый день происходили массовые расстрелы и поджоги внутри жилых домов и торгово-развлекательных центров. В первый день произошёл налёт дронов к двадцатичетырёхэтажному дому в Санкт-Петербурге. Перед налётом к дому подъехали четыре машины: двадцать три человека расстреляли за час около трёхсот жильцов, также примерно сотня человек выпрыгнула с окон со значительной высоты и погибла. Мужчины были без масок и в хорошем вооружении. Действовали они холодной рассудочностью и чёткою слаженностью. Они расстреляли находящихся на первых этажах и заставили входы к подъездным помещениям. Их чёрные, чуть остукивающие по горячей твёрдости оширившихся трудностями схождения тоих полов обуви возились в крови и иногда выбивали двери. Те же двери, что не подчинялись, они открывали после остреливания замков. Квартиры вскрывались так легко, что террористы даже не одавали квартиры последовательным вниманием. Они вскрывали квартиры одного этажа и выжидали: редко

жильцы выдерживали более минуты: обыкновенно они начинали истощающую непоследовательностью вопить, неизменно рыдать и случайно ударяться об мебель в попытке скрыться от террористов. Когда террористы слышали звуки очевидно человеческого происхождения, они непродолжительную уверенность забегали в дом и стреляли в головы жильцам. Никто не смог и не решился оказать сопротивления. Многие жители начинали вести прямые трансляции. Самой известной из них стала следующая: отец спрятался с дочерью, оставившей на трансляции телефон в коридоре, внутри ванной в ванне: примерно тридцать секунд сохранившейся записи состояли в молчании квартиры и оглушающих, раздающихся вне неё выстрелах: после того раздался оглушительный нечеловеческий тупизный выстрел и удар ногой: внутрь коридора влетела входная дверь, рокотливо ударившись об стену и содрав упавшую, обложенную ложностью ослепительную картину; десять секунд были слышны выстрелы в уже открытом межквартирном помещении: звуки отдалялись, однако стал слышен еле слышимый к неподготовленным ушам плач: выбежал отец: он закрыл дверь в ванну и, кажется, хотел закрыть входную дверь, однако столкнулся напрямую с террористом: тот случайно подходил к дальним квартирам и оступил на одну секунду, после выстрелив в живот. Отец чуть отлетел, плеснув кишками в сторону положившегося под небольшим углом телефона, с несколько мгновений одёргивался в ударяющей по безмолвию шума стрельбы за входной дверью дрожи и умер. Террорист еле слышимым шевелением развернулся и даже почти вошёл в межквартирный проём, однако дочь завывала. Неизвестно, могла ли она не завывать или может ли человек в подобном состоянии сохранить произвольную тишину реакционностью неподвижности собственного, однако она завывала. Завывала она уродливо: всем бухнувшегося кишками кита: взыванием оранившегося гнойностью оспалений слона: окриком знания скорой смерти. Террорист уже бездумным бегом открыл дверь в ванную, навёл к груди автомат и, видимо, совершенно случайно причинил свой взгляд к направлению камеры: лицо его было холодно. Оно было расслаблено. Даже излишне. В нём не было сомнения и испарины вины. Тогда трансляция сняла не человека: то нельзя даже было назвать зверем. Человек этот убивал. Убивал без каких-либо размышлений и сомнений. Он убивал. Он стрелял в ближнего. Он знал, что сам умрёт. Он знал будущие планы. Он знал, сколько страха и боли вызовут их действия. Он был военным. Лицо его было Лицом военным. Человек этот не существовал. Он был лишь функцией. Террорист этот смотрел в камеру, и лицо его не было страшным: оно не было оттенено особенностью черноты или оспалениями краснот: то был совершенно такой же мужчина, каких в тот день девочка могла видеть во изрядных числах. Запись заканчивается тем, как мужчина этот выстреливает в телефон и начинает перенаправлять автомат к ванной. В день трагедии погибло девятьсот тридцать шесть человек. В новостях говорили об этом числе нехотя, однако говорили. В стране началась массовая паника: каждый испытывал

тяжёлую нутряную оторопь, и никто не мог быть уверенным хоть в том; все массовые мероприятия были отменены, а въезд и выезд из городов стали сопровождаться обысками. Новости стремились транслировать происходящее всё менее, однако за эту неделю трижды известные ведущие выступали с речами, которые прерывались отключениями трансляций. Все были, кажется, подготовлены: все знали, что при возникновении опасности их эвакуируют, однако мысли эти повлекли только дальнейшие трагедии. В следующий день в Нижнем Новгороде внутри торгово-развлекательного центра начался массовый обстрел посетителей. Через час он был подожжён. Погибли сто шестьдесят два человека. Информация эта оглашалась в новостях, однако население не знало объективной правды. В следующей день в Чебоксарах также произошёл теракт подобных последовательностей. Погибли сорок один человек. Информация официальная. В следующий день был подорван с основания пятизвездочный отель в центре Сочи. Погибли все. Более новости ни разу не означали число погибших. В следующий день были подорваны два высотных жилых дома в Новосибирске. В следующий день в Сургуте произошёл теракт в торгово-развлекательном центре. Удивительно, но в отдельных городах продолжались их работы из стремления владельцев к выгоде. Работа эта продолжалась почти подпольно, однако и без того террористы расстреляли всех посетителей, не успев поджечь здание. Все, кажется, знали, что произойдёт в седьмой день. За эти шесть дней население России было ввергнуто в совершенный ужас: окромя дрожи, в трусливых, справедливо испуганных лицах людей звучали одно оскорбления ближних, удары во политические и конспирологические теории и ясно кошунственное чувство свободы: после этих шести дней также произошёл экономический взрыв в сфере наркоторговли: прежде смелые сильные, трезво мыслящие люди перестали ходить на работу: в тех истериках смен деятельности работодатели не успевали трезво оценить ситуацию, и потому части рабочих они наказали приезжать на рабочее место, после чего их спешно оттуда отправляли обратно, когда другая занималась совершенно дурственной и ненужной задачей удалённо; позже явление отказавшихся от работы взрослых людей в сторону наркотиков прозвали предсмертным хипстерством; многие оставались ночевать на улице: во единственном месте, где пока не ожидалось терактов и где не было слышно кровоточащего ужасом гула человеческих воплей; страна погрузилась в ад: бессильное ударение во сон подле почти суточных чтений новостей по поводу прозвали нижегородской бессонницей. Настоящий же ад оследовал в последнем теракте: седьмой теракт произошёл в Москве. Одновременно в двадцати местах. Были подорваны с оснований шестнадцать высотных жилых домов, был подорван Космос, произошли массовые обстрелы в трёх торговых центрах. Ни один из них так и не был закрыт. Москва утопла в крови. Весь следующий месяц интернет состоял только из видео: видео, где на асфальте ложатся целыми маслянистыми грядами трупы упавших с

верхних этажей торговых центров: видео, где под обломками кряхтели остатки человека: видео, где ребёнок без руки бежал к оператору и был после размозжён остатками обвалов: видео, где террористы обстреливали лежавших кучкой людей: видео, где пробегающие мимо люди видели, как кто-то ещё двигается в этой куче, да убегали прочь: видео, где некто тащил тело товарища, однако был после застрелен: видео, где на шлейфах эскалаторов люди прятались и падали во попытке спастись от стрельбы: видео, где звук выстрела: выстрела, изначного оглушающего: выстрела, раздающегося глухою звонкостью во болезненностях своего оставания. За месяц этот президентские выборы приобрели совершенно неожиданный оборот: кандидат, имевший менее всего голосов, был первым и после стал президентом: ужасающая темпами политика первых недель его была направлена на усмирение волнения населения, и через полгода люди будто и позабыли о том: позабыли, однако прежними они уже никогда не были: никогда они уже не смогут отреагировать шутливо на отыгранный внешним носителем звук выстрела: никогда они уже не смогут улыбнуться прежней улыбкою.

В полгода эти были отменены лекции и любые совместные занятия Тфальры. То стало страшным ударом для меня и изнутри, однако страшнее было ото новостей. Через месяц я совершенно ослаб и слёг с лихорадкой. Ещё два месяца я не мог покойно спать и большею частью читал Писание и молился: молился православными молитвами. Мне было страшно и плохо за происходящее. Теперь мне даже тяжело вспомнить подробности ошедшего: теперь кажется, будто всё то было сном, однако оно происходило в действительности. Я очень многое упустил: я очень многое утерю и во многом стал сам ограничен, на что не могла не повлиять произошедшая резня. Полгода эти я едва ли жил, и даже забавно, что по окончании общей тревоги я и излечился большею частию. Я сильно похудел и ослаб: более я не мог выполнять даже гимнастику, поскольку тут же мне становилось дурно и лихорадно. Так я впервые отошёл от общих практик Тфальры. Я не знаю, что происходило и что произошло. Полгода эти я и всё население России положилось в аду. Я не общался ни с Дмитрием, ни с Николаем. Редко мне приносили еду через отверстие, которое я выдолбил отвёрткой в самом низу двери: последние четыре месяца я справлял нужду только в передаваемых кем-то извне сосудах. Вероятно, то был Николай: вероятно, он даже что-то говорил мне, однако я не мог ни слышать, ни слушать его. Я молился, и только молитва звучала во мне: я молился, однако нельзя сказать, что за полгода эти я не отупел: я едва ли мог теперь находиться и слушателем на прежней лекции своей. Когда мне стало лучше, я вышел ночью в коридор совершенно голый и в полубреду сходявшейся ко уму моему темноты выливал в туалет все бутылки и вёдра мочи, какие не решался отдавать вовне. Я не знал, следят ли за мною, однако надеялся, что не следят. Пил и ел я очень мало, дабы в комнате копилось меньше моих мочи и испражнений. Закончив выливать всё, я оказался упавшим на лестнице. Точнее, мне о том сказали. Оказалось, все

соседи мои проводили долгие часы за ожиданием меня у двери, и все нагие хождения мои они видели. Волосы мои со главы доросли до рамен моих, а случайно орастившаяся и прежде брада моя стала укалывать грудь. Полгода я не мылся. Полгода я не существовал, и ото того-де.

Бездвижною молчаливостию я нагим сидел на общем диване первого этажа довольно продолжительными десятиминутиями: сидел и видел, однако не мог ничего услышать: мне говорили очень многое, однако я ничего не понимал: многие восторженно обращались ко мне, хвалили за какой-то пост во славу умерших и чуть поглаживали отстраняющиеся самопроизвольно руки мои: говорили они совершенную ерунду и глупость, и я даже хотел бы не слышать их, если бы и за тем понимал хоть десятую из говоримого. В дымке бреда этого возник Николай. Он посвежел и стал радостнее. Еле оглянувшись, я понял, что и все соседи мои также стали только более светить обликами жизнерадостности. Николай ждал этого: громогласным обещанием всех он собрал телефоны, встал передо мною на колени и один час молчал. Молчал и я. Я не умел более разговаривать и мыслить. После часа этого кто-то позвонил Николаю на один из его телефонов. Первым, что он сказал именно мне, были слова, как тфальристы, несмотря на запреты, каждую неделю собирались в том ангаре и молились православными молитвами. Молились ими потому, что Николай передал им, будто в своей аскезе я также молюсь ими. Я промедлил с пару секунд, однако неподготовленную сухою хрипотой хоть сколько-то возможною в тех болезнях своих гневностию всё же прикрикнул на него вопрошанием насчёт растраты всех денег того мецената. Николай опешил и еле заметно хихикнул. Он сказал, что меценат этот пожертвовал ещё столько же и что мне не стоит думать о таких мелочах. Во момент этот мне стало особенно противно ото себя: растрачивая чужие деньги, я позволял себе проедать пожертвование: пожертвование, что, кажется, было возвещено одно в стремлениях помочь мне: в стремлениях продолжить Тфальру и нашу веру. Мгновение это отрезвило меня: помогло отойти ото полугодичного болезненного бреда: я остыл своей наготы. Я поспешностию неловкости накрыл свой орган случайно попавшейся к руке подушкой и начал скороспешно извиняться перед соседями: когда я начал говорить кажестиями прежних твёрдостей, в глазах их заиграл свет. Когда я уже наступал на первую ступень, я услышал от Николая, что резакки стали большею частью тфальристов и что он даже был в то недолго вовлечён, теперь уйдя: я повернулся к нему, посмотрел на предплечье его на жирные мясистые рубцы от порезов, которые он никак не скрывал. Николай улыбался мне и был рад. Не знаю, понимал ли я всего тогда ото вида его дорогих, очисто выглаженных одежд, однако при общем молчании я почти шутливою грубостью сказал, что ненавижу его. Слова эти стали больны и мне, однако через пару мгновений, когда я уже прожнестию скоростей поднимался, стал слышать самый драный из слышимых в жизни своей вопль. Николая с тех пор я не видел очень долго. Одевшись, я спустился. Я встретил Дмитрия.

Он пожал мне руку. Только он, думается, из всех стал мрачнее и темнее: под глазами его образовались ещё более тяжёлые мешки, а фиолетовая чернота округ глаз образовалась всё дуже. Он недолго промолчал и обнял меня. Он сказал, что Николай действительно много сделал за это время, однако теперь он не сможет меня видеть. С этим я смирился. Дмитрий мужественным уважением Николая попросил меня допустить нововведение, которое было сделано очень давно и готовилось к моему возвращению. Теперь на тех гигантских тканях подо Тфальрой полагался флаг Тфальры, который Николай и в последующем я прозвали просто Флагом. Дмитрий протянул лист с рисунком, однако я не стал смотреть, позволив оставить то. Тогда я не знал ещё, что на машине довезут меня до прошлого ангара, куда уже пришли тфальристы и где уже висел этот флаг. Флаг состоял из геометрических обратномерспективных прямоугольников, соединённых прямыми: сверху прямая внешнего прямоугольника обрывалась: оттуда выдавалась фотографическою схожести жирная, осширенная во чёрнобелостях изображения нога, заканчивающая очевидно неправдоподобным мясистым, приделанным уже оверх срубом, во нутряном же прямоугольнике справа виднелся рот той же фотографической гротескной техники, слева полагался ряд из гротескного глаза сверху и примитивно оформленной чёрной звезды, ещё чуть левее был отработанный чёрным контрастом пошарпанный старый орнамент. Флаг я посчитал вздором, однако решил оставить, озрев поступок с Николаем своей совершенно несправедливым и дурнотным, до чего я дошёл уже во время поездки на машине. Ангар был представлен неизменностию своих запахов и размеров, однако сами тфальристы выглядели иначе: я не мог не замечать порезов на их руках: порезов, что были гораздо серьезнее и тяжелее, чем бывшие игры резаков; то меня сильно огорчило и привело в непродолжительное уныние. Главным же отличием было, что тфальристы уже не сидели на стульях: все они опирались друг на друга, телами ложась на принесённые, видимо, заранее коврики. Тфальристов было гораздо: гораздо больше. Число их не одуряло, но казалось безумным. Я и отдалённо не предпринимал попытки сосчитать их, зная, что за ангаром стоят толпы ещё очень многочисленных людей. Преходя со сцены, люди, кажется, не узнали меня: почитали то вздорным и неправдивым, однако подле нескольких шепотливых, оглашающих моё явление окриков тфальристы словно перестали дышать. Я похудел на тридцать килограммов, а лица моего уже почти нельзя было различить. Я, подобно им, сел на пол. Ко мне подбежал Дмитрий с ковриком, однако я отказался. Случайною подвижностью я съединил правые указательный и большой пальцы. Так же сделали все остальные. Я было хотел отказаться от этого, однако понял то слишком поздно. Полтора часа я молчал. Я почти заснул. Я был во продолжающемся снова бреду. Я был в лихорадке и болезненности. После того я всё же собрался неосязанием осходящегося ума и начал что-то говорить: по прошествии говорения я уже не мог сказать,

что я озвучил и к чему вёл, однако полагающиеся в ангаре, видимо, были в совершенном восторге. После того я говорил со всеми желающими лично, да мало из того я уже мог воспроизвести и вспомнить. Я действительно был болен. Мне были необходимы сон и еда, и потому во время ответов я также устроил непродолжительную трапезу. Во время одного из ответов я уснул, и меня отвезли домой: то я узнал также из вторичных оглашений. Сам же я одно очутился дома после того. Когда я подал признаки жизни, со открытой двери комнаты ко мне зашёл Дмитрий и сказал, что лекции будут пока раз в неделю, однако будут: он не требовал плана лекций и прочного: одно присутствия, однако уже на следующий день я восстал прежними силами и стал оперво преходить к приготовленному ранее материалу: я одно учился заново пересказывать и читать свои работы, однако все из тфальристов, приходивших смотреть на то не только из числа моих соседей, видели то совершенным чудом. Кажется, все верили, что вчера я умру. Медленною верностию я возвращал прежний темп лекций, и уже к концу месяца проводил три лекции в неделю. Тфальра снова обростала новою интенсией: тфальристов было всегда очень много, однако уже не столь же, сколько было в день, когда предполагалась моя смерть. На каждой лекции была одна тысяча человек или более. Число это говорил мне Дмитрий ко завершениям ответов, однако то я не сознавал, лишь продолжая избранною бывшестью векторов дело. Кажется, нечто надломилось во мне. Нечто надломилось во мне, и более я не мог относиться к человеку человечно, хотя и был во способности прочитывать религиозно-богословский материал.

Адам, где ты? неужели ты окрал смоковья во пошлеющихся непризнанностями должновений войн своих убийствах? Смерть: смерть не имеет сходности с иным земным деянием: смерть тяжела, чётка и неразборчива: смерть ударяет малость человеческую, и малость та была так незначительна, что удар этот оказался совершенно иным, он достиг того качества, что никогда и не востремлялся сопутственностями означающего хоть сродности тоих экстенсий рассудка: смерть ударяет, когда человек истощается, когда тело его истратило тот запас свой прежний, и даже прежде: даже раньше ты прекрасно понимал, что не сможешь прежить той боли, что некогда переживал: ты понимаешь свою слабость, своё обмягчения: оробевшиеся освойственной изнемождённостью тела: именно тела, именно приспособленность ко уязвимому, хотя и принадлежащую качественностями отношений ко Господу Духу: ты знал тогда, что не переживёшь прежней боли: что, придя ко тому, ты просто схлопнешься: ты провалишься, нырнёшь во смерть, поскольку тело твоё кончилось: Грех твой был искуплён запасами тела: Грех измерился в том, сколько боли ты сможешь выдержать, и несправедливость не могла быть допущена: раз ты выжил: если ты допустил свою жизнь в этой боли, ты достоин ещё многого: ты должен ещё во многом умножить грех, хотя и грех тот во себе ты вынужден изъять, как Адаму было позволено изъять ото вомысла о корысти

Господа. Смерть долбанула. Бахнуло смертью, и ото смехотворности форм слов этих корёжится проставшееся свисающими маслянистыми жирными тонкими, слипающимися пребыванием со стекающим мозгом кож лицо: и так туп этот взгляд: совершенно смешон этот взгляд, эти глаза: обухшие желтизною надрывами, только отдалённо схожие с прежними аккуратными, даже достойными вроде и пренебрежения отне прежних празднественных отношений своих пятами опухоли. Эта смерть ударила; ударила непоследовательно, немучительно и безапелляционно, как вырывается обычно устное слово: это неприглядное, резкое во отношении ко ситуации слово: я никогда и ничего так хорошо не расскажу, как ветреною случайностию напишу: я никогда не смогу сказать о своей Боли, я никогда не смогу речью устною означить нечто важное: вероятно, во окраённости специальных осложнённости формата ответа я бы и сумел: я бы, может, и смог бы сказать нечто, однако я делаю всё, окромя слова: Адам не должен был вопрошать о жене своей, и никогда Господь не мог Говорить, ибо мог Он только Писать Словом: он был лишён несовершенства, он никогда не мог допустить рождение допускающего совершенства вне отношения ко себе во величинах Светом во человеке; кажется, людям нравится мой слог: кажется, частности его сложности и видятся им мудрыми, и во делах же никогда я не отходил ото реальности притчи, никогда я не склонялся произвольно ко чёткости манифестальности: никогда я не изводил себя этой жуткой, рождающейся одно отне самостей приспособленностей ко вношнему условностию, никогда я не изымал прежней цельности ото речей своих сознательных, однако всегда говоримое имело распадение: внешне совершенно незаметное, мелкое и даже смешное во озвучивании объектов своих действительностей, однако очень редко был я доволен лекциями: я продолжал их вести, реальность моя облеклась во совершенно неожиданные новины и отне лишённостей новин тех, однако не была речь моя хоть отголоском письма моего: письмо же принималось тфальристами, каже, именно как православная молитва во рецепции современности: внешняя неясность срабатывала во главное положительное качество своё, и связи со знанием Целого объявлялись всё прочнее: прочнее, чем во пониманиях их оречённых, когда одно то они рассудком и понимали, и дело было даже о чуть другом: в, каже, чём-то незначительном, в пристрастии вполне известного качества, однако качества совершенно иного. Тфальристы видели в лекциях моих проповеди. Они ещё не облекли проповеди во части отдельностей веры, однако я подмечал это: подмечал, кажется, и раньше: подмечал и видел ещё с первого обращения Николая, однако я выдумал очевидности неправды о том, то замыливал особенные внимания самыми различными восстаниями дела. Я продолжаю лекции: я продолжаю их даже в экзатичности, однако. Человек чувствует страх, его пожирают: его жрут болию, и особление же краснений тех... единственности человека... столько дел, столько действий я совершил, словно и не делал совершенно ничего: словно я о

бреду, во сне, что ли... Кажется, так полно было моё возвращение, так истинен был возврат мой, и столь же сильное различие всё имело с прежностями того полугодия, однако: однако главным, чем я мог бы по прошествии недель описать своё возвращение: с чем бы я мог сравнить свою жизнь, чувство и состояния души: то... кажется, то именно сон... совершенный бред. Дверь открывается, и причиняешься ты к ней: тянешь ты её, однако: однако дверь открывается в иную сторону, и сторона эта тебе недоступна.

Когда я вхожу в ангар, людей в нём уже довольно, и люди эти все приготовлены: состояние то, несмотря даже и на мой энтузиазм и освоенное вновиоказавшимися ко предмету дел наших деньгами торопление, ощущается мною искусственным: ощущается то вымученным и выработанным: то остаётся согласованностью рассудка с формой, то условливает идеальное с настоящим, и давит: давит эта тяжесть на эту мягчесть; время до подъёма на сцену обыкновенно происходит довольно отрешённо ото находящихся рядом людей: многие проявляют и нездоровое стремление быть ближе ко мне, и ото самых немощных, ото самых честных глупых безоисходных вопрошаний оходятся явления вовсе безобразные: иные тфальристы пытаются коснуться меня и погладить: они почти бегут ко мне, однако дмитриевцы работают удивительно слаженно во своём физическом волонтерстве: ещё ни разу мы никого не выгоняли, да... да время вязнет, и время... и люди... в ангаре не так уж много света: безусловно, сцена ясна, ярка, и меня видно во ней замечательно, да тяжелее всего во выступлении есть неощущения прочего присутствия, когда, каже, всё говоримое из говоримого адаптировано и условлено до такой степени, что неуслышание будет уже оскорбительным: не столь из усердия моего пустоошедшего, сколь из того, что произнесение нелепицы этой даже и не имело оправдания; всегда мне важно было видеть аудитории, ещё во время учительства моего, да теперь без того я не могу совершенно, и даже с тем; лица положившихся на периферии света, подле стен, стягиваются краснеющей во глаза и ртах их темнотой: они слушают, и слушают внимательно и иногда даже вдумчиво, да лица их: их недвижимые бесчеловечные лица уставляются в меня, и серость обшарпанных, прокажённых частыми царапинами и обоениями напоречившихся телесностями оболочающих толстые, причиняющиеся металлическим штырям дыр мест стен свисает над человеком, и во тишине этой каждый шорох, каждый звук отдаётся десятикратно, и шёпот длинного, ополненного дешёвой жёсткой, да за тем окрашенной цветистыми избыточностями неуместных сохожённостями общих зленений пестрот тканью платья матери с посапливающим спокойственностью вочедений ребёнком оминает слухи мои невнимательностями орождений, и касание салфетки потного лба небритого, стоящего на коленях, случайно оголившего произвольностями несмышляний красные, срубцевавшиеся совсем недавно тканями наворощенноостей тоих шрамы мужчины прихлопывает близинами о мне, и

выходящие: выходящие с ангара люди... очень редко кто-то выходил окончательно, да довольно часто тфальристы уходят в туалет: я прекрасно знаю, да и все, кто принадлежат к кругам Дмитрия и Николая, также понимают, что туалет в ангаре закрепить нельзя по техническим причинам, основания которых мы не обходим по причинам чрезвычайно ограниченного бюджета; оттого люди, что перебрали во жажде и обпились ото жара и сходящегося в горячениях отдельных, отчего-то также обогреваемых со пола ещё излишне и во той положенности, где вентиляторы на стойках возможно поместить только на сцену и близ сцены, мест слушательских ангара пота, люди эти: будто и хорошо всё, и будто всё правильно, они привычною незатейливостью выходят из ангара чорез скрипучую самоепринятостями их условий оздешних ото убытка телесного ко убытку душевному дверь и идут в лесок, остоящий к одной из сторон ангара и состоящий на деле из только нескольких довольно редко положенных деревьев, и во стороне той после каждых занятий наших даже и непрестанным внимательностью нашей взглядом оказывается довольно множественная рябь белых пятен словно и соструктурировавшейся положенностями недолжновенностей тех туалетной бумаги; хотя и можно: хотя и справедливо порой наделить ангар значимостью места сакрального, профанное в нём отяжеляется даже и грязью невозможности организаторов соорудить всё должным образом, и темнота омрачившейся тяжестями вооблачившихся действительностями прокажающихся ужасами начтевших молчаниями бесполовых телесностей пробивающихся ото того усердностями полнот человеческих гадостей предметностей галлюцинаций новин вязи его: мрак ангара сбывается светом трибуны моей, и гигантский символ "Тфальры" настаёт над тем, и зловещий: гнилой призыв слов моих порой усиливается, да хороший лектор: хороший лектор должен быть плохим психологом, дабы не сойти со цели и хоть дорассказать лекцию.

Филокалические... ну, материалы те: они писались монахами. Их монахи писали же: не художники иные светские, не поэты. Нил Сорский писал, что не подобает нам вовсе ни гневаться, ни причинять брату зло не только делом и словом, но и видом, ибо возможно и одним взором оскорбить брата своего. Святой Антоний во поучениях своих говорил, что незлобие есть фимиам пред Богом. "Оклеветающего тай искренняго своего, сего изгоняя". Иоанн Лествичник писал в "Лествице": "Как огонь противен воде, так и кающемуся неспродно судить." Любовь – плод действия Святого Духа в человеческом сердце. Поскольку любовь предполагает живое соединение человека и Бога, то она ведет к Богопознанию и называется богословской добродетелью.

Любовь – основание христианской жизни. Без неё христианский подвиг и все добродетели лишаются смысла: "Если имею дар пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, – то я ничто. И если

я раздам всё имение моё и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы". Любовь же... я долго сижу в тишине: я много и тяжело тружусь, и всё же... я столько прочёл: столько исследовал я, да становился ближе только к безумию ко Господу... к мудрости человеческой... Я читаю лекции христианам, однако сам же... сам я с самого начала не мог не сокрушиться деталью: казалось, вовсе незначительной деталью, тем, что мысль мою не должно было сокрушить и волновать, что пояснялось при желании совершенно просто, да нечто не складывалось во мне. Я всю свою жизнь наблюдал боль: я видел страдания, болезни и войны. Я знал о вещах совершенно недолжных и страшных, да за тем всё же признавал Господь человека красивым: всё же признавал он... Господь любит человека: вероятно: вероятно, то было и причиной появления Адама; он любил его до, после и во время его рождения: он знал; непременно, он знал, что сделали Адам и жена его. Непременно, не было никаких сомнений в нём, что человек рано или поздно раскается: что после Ада ждёт его прощение, когда поймёт он недостойность себя Господу. Когда поймёт, что в мире, где есть он, было бы просто чудовищно странно присутствие святости. Тогда-то и появился бы Господь приобщением ко нему во спасении души его, когда более не будет душа грешника этого знать вечную направленность Духа о себе ко Царствию Небесному. Здесь я продолжаю католический канон, мотивированный переводением апокрифа со сошествием Христа в ад: католические иконы главно представляют познавательную функцию, и потому отсутствие подобного Православию аджорнаменто консервативного нетерпения к изменению традиции и большая, чем в Католичестве, опора на эстетическое основание, во вопросе о Соборе святой Софии вовсе завершающее сам этот вопрос на самом начале, я считаю неким упущением; эресью признана вещь, существующая вопреки традиции, однако досказанная не в формате привычно не имеющей значение для решения души во описании христианином земным адиафоры. Безусловно, человек ужасен. Точнее, ужасен он с объективной стороны: той, к которой не имеет причастия Господь, и... и ведь известно о святости: совершенно ясно, что душа человека нетленна, да душа... именно она ведь порождает худшее в нём, так не лучше оттого выделить из рассудка, чувства, эмоции и личности бессмертный Дух, отделить ригоричной строгостью божественную частицу в человеке? так ли соответствует он душе, чтобы быть ассимилированным к ней? Задача человека – не преобразиться, не достичь и не исправить, но, подобно христианским аскетам, умертвить себя до той степени, чтобы только Дух остался: чтобы вернулся человек к положению, в котором был до рая: чтобы человек был с Господом и частью его. Личность есть лишь инструмент: лишь удобная конструкция, позволяющая устроить испытание должным образом. Вероятно, Господь, подобно учителю, совершенно не волнуется о знаниях ученика: он уверен, что при должных обстоятельствах ученик сам легко овладеет этим, да для соблюдения приличия всё же необходимо: всё же

нужно довести всё до своего формального итога, и последний вопрос Адаму, передача экзамена, есть ад, из которого человек непременно обратится из тишины безбожной в Тишину Божественную.

Раз так, ведь отчего не оголить сразу красоту человеческую? отчего благом помыслом не освободить людей всех от пакости их? и ведь... святые не должны думать о таком, да... вдруг появится такой, так он ведь то свершается из благого помысла: власть помыслов ведь: ведь власть души есть, ибо святой Максимин ещё вывел, что без свободы одно эпистемологически всё было бы пусто и странно: зачем же то тогда? и вот... ведь если помысел человека этого хороший, так что страшного? что ужасного в том, что он помог человеку достичь Господа быстрее? Безусловно, в том богоборчество: в том борение с Господом, да ведь борение в числе любви к человеку, хотя... хотя человек тогда больше Господа получится: только любовь его будет более, а так нельзя. Да и... да и нужно знать: нужно понимать, что имя Господа-воителя есть Саваоф, и имя созданного для человека есть Писание. Если не сказано человеку о подобном, то зло, ибо христианство создано для человека, и выход за человека в том и душу будет... думаю, будет преступлением. Какая же злоба в мысли моей? просто наблюдение: просто не Господь я и не богочеловек, и потому не могу узреть в грехе красоту: просто человек я, и только я могу сказать: только я с ответственностью могу ответить: человек – это урод.

Мышцы людей сменились кавернозной тканью, и часть из них имеет способность превратиться в гиганта. Гиганты живут недолго и очень болезненно умирают, однако только они имеют право на решение. Люди же права такого лишены. Главный гигант лежит у горячей синей пустыни, даже дойти до которой уже практически невозможно: те же редкие единицы, что доходят до него, уже точно не имеют запасов на обратную дорогу. Главный гигант бьёт человека на специальном красном помосте, и почти все из таковых после стекают в тот же рыхлый бурдовый помост, растворяющий в той несносимой жаре пары нескончаемо пукающих стопами крови тел. Главный гигант имеет лишь колоссальных размеров голову и длинный позвоночник, которым и бьёт людей: позвоночник этот смялся уже под весом своим ближе к хлысту, и только в редкие мгновения удара он открывает полностью довольно большие поверхности вонючего помоста. Когда появляются гиганты, помост этот плачет и шепчет, что все свойства те были ошибкой, что только испытать они должны были себя тем, что только страшным грешникам полагалось проверить себя на главном гиганте, которого породил ребёнок внутри помоста. Когда люди кончились, а гиганты ссохли, из помоста выпал ребёнок. Ребёнок не имел предплечья, кисти, икры и стопы: весь он был покрыт единой мясистой чёрной раной, будто всё время это с него медленно срезали длинные лоскуты скатывающейся сверху тяжёлыми камнями кожи. Когда ребёнок ступил на пустыню оборванными ногами своими, что-то потекло. Весь ребёнок, в общем, тёк. Довольно тяжело

было понять, что происходит. Так вот, как же я поступил бы в подобной ситуации? В подобной ситуации я бы уничтожил главного гиганта и ребёнка. Хотя... наверное, то самое худшее даже. Может, я уничтожил бы человечество.

Прекрати это. Ты сам всё знаешь. Ты понимаешь всё. Ты понимаешь всё, но в тебе слишком много трусости. Ты бесконечно будешь откладывать, менять и путаться, лишь бы не оказаться виновным. Всё, в чём ты находишься, является результатом твоих действий. Только твоих действий.

Да, тебе легко говорить: тебе, такому хорошему, такому идеальному, легко так говорить! ты совершенство ведь! ты такой отличный! А я?! Я что?! Я!!! Я никому не был нужен: никто не смотрел на меня: никто не видел меня!!! я в мире слепых находился!!! слепых, что и возможности не имели увидеть меня, ведь я...

Ты понимаешь всё. Ты прекрасно понимаешь. Ещё в самых своих ранних рассуждениях ты понимал, что всё, за что возмёшься, обернётся трагедией. Ты хоть слышишь себя? ты хоть можешь представить, чтобы мы изучали глубоководную рыбу на поверхности? чтобы мы рожали детей из пробирки? чтобы мы убивали друзей ради еды? чтобы... чтобы мы рассматривали христианство в отдалении от христианства: чтобы спасение души мы понимали с пропуском земной жизни?

Ты ничего не понимаешь. Ты... ты дилетант...

Столько лекций... столько мыслей, столько пустой болтовни, и всё же... всё же... ты можешь обернуть всё вспять. Ты ведь понимаешь? ты прекрасно понимаешь опасность Николая, да всё ещё остаёшься в зависимости от него, и в какой! в зависимости, где каждая секунда внимания твоего есть для него награда, и Ты лишаешь этого его. Ты более не кумир: теперь ты каратель. Ты теперь не объект любви, но субъект, любовь эту отнимающий. То первичнее для него. То... ты ведь понимаешь, что без Николая ничего не получилось бы. И как ты на это посмотрел? Как? А? отвечай, идиот!

Я... я виноват!!! Я виноват!!! Простите меня!!! простите меня!!!

Есть ли покаяние в бездействии? бывает ли монах в квартире? Ты виновен. Ты виновен, и всё же... И всё же ничего уже не поможет. Ты прекрасно знаешь всё. Ты понимал всё с самого начал. Эта любовь... вся слава, что ты приобрёл... всё это убьёт тебя. Это убьёт тебя, и тебе это понравится. В общем, тебе и сейчас это нравится. Такой отстранённый: такой аскетичный вид, а ведь что! ведь что ты делаешь, кроме как пересказываешь невнимательно прочитанные накануне тексты? ты думал, что ты великий? что работа сделает тебе услугу? что ты хороший работник? да: да, именно так я думал: я не думал, что я работник, но мыслил себя: может, я и сам это не понимал, да в каждом деле было всё более себялюбия. Всё больше нечестности в моих действиях было. Времени прошло много: мать его, да времени как насрали прошло: я и

потерялся в лекциях этих, в том, сколько мы можем заниматься и как... было ли лучше, если б я был размереннее? если б я был спокойнее? если б... да всё кончено. Плевал я на всё. Я ненавижу людей. И все ненавидят. Только признать боятся. Только не имеют смелости сказать это. Я не святой: нет мне доступа к святости большей. Я имею право на злословие, да с тем... с тем я имею и право на оправдание действий своих идеями. Может, я разуверовал. Тогда цель моя есть истребить человечество. Просто сделать мир чуть красивее, избавить его от этого мусора. Если я не разуверовал, буду я жертвенным богоборцем... да срал я на жертву: правда хочу я, чтобы не было больше человека. Если богоборец я, то помогу мразям этим избежать ада. Ну я бы... да я бы и так их всех кончил. Сук этих. Так подумал я однажды вечером. Так подумал я и забыл. А время шло. Время шло, и думал я, что имею право на мимолётную мысль: на мысль, казалось бы, ерундовую. Смешную даже, да... да только об этом, но не о трудах подвижнических я думал более, хоть мысль эта и разъедала меня. Хоть шутка эта и проникала в белки глаз моих, краснеющих опухольями ненависти.

Я вижу: я вижу это; вероятно, более это не эссеистический бред заигравшегося в философа бездарного учителя. Я вижу резаков: резаков этих много, кажется, около двухсот. На всех руках их жирные выпуклые красные полосы. Молитва: громкая молитва... я слышу очень громкую молитву. Молитву эту записал Николай, и... он так по-злему записал её: с таким грохотом она раздавалась по ангару. Молитва пугала меня. Николай не молился, когда произносил молитву: произнося молитву, он вопил, и тяжёлый низкий вопль его был адресован мне. Едва я мог объяснить, как стал заточён здесь и почему не могу сказать о своём положении: всё было как в бреду. Я был уверен, что то именно казалось бредом: казалось, хотя являлось во много раз страшнее, неопознанней и противоречиво. То действительно происходило. Что было вчера? Вчера... вчера я проводил лекцию... лекцию довольно классическую, и после дмитриевцы спроводили меня до дома, а там... густо размытые воспоминания сдавливали мою голову резкой болью, однако нечто всё же пробивалось сквозь тягучий слой пыли забвения: вчера Дмитрий пришёл ко мне, и... он обратился с чем-то: он обратился с чем-то... с чем-то страшным... кажется, он... кажется, он был в крови, и руки его были в крови, и лицо его было в крови, и оттого: оттого щёки его были чёрными, и оттого лицо его всё было чёрным... я не понимаю, в каком нахожусь положении, и отчего-то только полагающееся сильно дальше могло быть мною рассмотрено... движения словно останавливались, прерываясь на высвеченное настоящее, и... Я видел много вёдер, и в вёдрах тех были кипятильники: кипятильники были присоединены к большому количеству растянувшихся по всему ангару перед резаками удлинителей. В молитве... в записи, сейчас гулко расходящейся по всему ангару, прозвучал звон, подобный звону церковной звонницы, и тогда в уже сдутом расходящимся по лёгкому тёплому ветру гигантского помещения жаром

ангаре прозвучал звонким хруст, сопровождавшийся, видимо, незапланированным выключением света. В темноте резак сперва, думается, даже засуетились, значительно чем-то раздосадованные, после чего довольно твёрдый голос случайного из них сказал перелить уже заготовленный кипяток пополам. Рассудок приходил ко мне, хотя я всё ещё едва мог быть уверен в объективности прежде видимого и теперь слышимого: всегда чувства мои более зависили от зрения, и сейчас, когда я был лишён его и мог только слышать уже истерично кричащую, отчего-то продолжающуюся, несмотря на отсутствие электричества, молитву. Молитва ударяла мне в голову более, чем неопределённость нынешнего положения: я впервые попытался двинуться, да тело казалось мокрым, невыносимо слабым и будто несуществующим: ужасными силами мне стоило едва раскрыть рот, и тогда: тогда, когда тело моё только начинало подавать признаки жизни, в колонках вновь загудел приглушённый предельной громкостью звон, и тогда: тогда я услышал плеск, шёпот, шипение и звук падающих вёдер. Молитва прекратилась, однако вдруг возникший оглушающий шум ещё не окончился стройным лепестком того знака, что я мог понять. Только после: потом, когда тяжёлый, вызывающий рвотные спазмы запах проник в мои ноздри, прежде будто не ожидавшие ничего подобного, я понял, что произошло.

Ужас рокотал во мне язвенным боем: я не был праведником, однако всё ещё пытался адаптировать внешность свою к переменяющейся от окружения внутренности. Я начал биться: я начал пытаться освободиться от оков медленно выходящего из моего тела наркотика, однако после, когда я уже смог почти уверенно шевельнуть кистями и одной из ног, пришло иное осознание, растворившее радость от подобных успехов. Свернув шею книзу и припав головой к холодной твёрдости металла, я смог слегка окинуть взглядов жирные железные вериги, в которые я был облачён и что приковывали меня к земле четырьмя большими гирями, вероятно, каждая из которых весила тридцать два килограмма, хотя еле заметные очертания числа я пока сильно додумывал в уже тяжёлом истеричном бреде. Я не видел произошедшего спереди, однако подобный николаеву визг во мне вышел тупым тихим рычанием, совершенно незаметным среди истошных криков в ангаре. Глаза мои обливались кровавым ужасом, однако я не мог даже выказать того налипшими сверху веками: я мог только чуть видно трястись, зная, что и полная власть над телом не позволила бы мне хоть как-то повлиять на произошедшее. Я зеленел страхом и желанием остановить это: примерно с двести тфальристов некоторое мгновение назад медленно вылило себе на головы кипяток, и звук хлюпающих волдырей смешивался с криками вопящих резак. Все они, кажется, ослепли, припав друг к другу в лежащем положении: от боли все они драли друг другу лица, даже, думается, не понимая, что рвут плоть своего друга. Продолжалось это с полчаса, после чего крики начали замолкать: люди стали стонать, плача и ударяя себя по размокшей ожогом голове.

Казалось, крики эти смешались с уже начавшим проявляться излишне натуралистично в голове моей обликом вздутых красных лиц дёргающихся сектантов в один большой, даже излишне большой узор: проблема этого узора была именно в том, что он уже не подходил на небольшую дамасцировку: изуродовало себя слишком большое количество людей. Тогда рассудок ещё был во мне: тогда ещё...

Свет в ангаре включился. Сперва одёрнувшись от резко пробившейся вспышки, я увидеть словно смешавшуюся друг с другом плоть: резаки побросали одежды, стараясь избавиться от жара и охладить себя, и теперь ясно было видно, как резаки не только повреждали руки, раздавленные длинными иглами порезов: на руках-то были их самые безобидные раны, ибо все торс и спина их были исполосованы так, что заживали раны уже не пухлыми красными рубцами, разделившимися еле заметными кольцами, но глубокими складками, сдерживающими иногда словно выпадающие из дыр мышцы, и то даже не было самым болезненным в их виде: вероятно, и девушки, и мужчины отрезали себе грудь под корень: так, чтобы рваные края этих луж ещё чуть беловатого мяса позволяли разглядеть переливающиеся над оскоплёнными телами мышцы. Из прежде закрытой двери начали густым сильным бегом выходить крупные мужчины, в ком я уже мог разглядеть излишне приметных мне дмитриевцев.

Я мыслил и видел ясно, сколь то позволяло нынешнее положение: я мог двигаться, и только одно тогда помешало мне со всеми силами сбежать к ним. В сильных руках мужчин хрустели, падая в руки, тяжёлые блестящие автоматы. Тогда всё будто застыло: тогда всё уже не принадлежало мне и резакам. Тогда окончивший эту грядку Николай выкричал что-то, ставшее неразборчивым именно из его произношения, но не моего дефекта. После слов Николая окончательно ударившие упор дмитриевцев автоматы были направлены к уставленным теперь слепым молчанием резакам. Автоматная очередь ослепила гигантское помещение. Кровь брызгала на меня так же быстро и беспорядочно, как тела обожжённых людей скидывались друг на друга. Люди эти бежали к дмитриевцам: люди эти желали смерти. Через некоторое время, показавшееся мне несчастной вечностью, трупы перестали падать друг на друга. Запах крови перестал обновляться, начав уже тихим гниением становиться всё неприхотливее в своём услышании: ноги мои дрожали, а челюсть сколола один из передних зубов щёлкающим напряжением. Я попытался двинуться: я дёрнулся, ощутив наконец поддающиеся мне гири, сдавливающие грудь и ноги жирными цепями. Я видел, как дмитриевцы побросали свои автоматы, и тогда случай подвинул меня к чуть видной щели случая. Я слышал, как прежде охраняющие меня, сопровождающие почти везде люди вспарывали друг другу глотки прежде заготовленными ножами, однако скрежет пробивающих под собой длинные дороги вмятин гирь перебивал для меня звуки убийств. Там, у начала

ангара, нельзя было ничего расслышать отчётливо, жа очевидно успешнее меня придвигающиеся шаги стремились всё быстрее: кто-то бежал ко мне, и, только из случайной слабости обернувшись, я увидел одетого в монашеские одеяния Николая, что, в то же мгновение накинувшись на меня с ножом, разрубил мне бедро, оставив в нём уперевшееся в кости лезвие. Его обезумевший, трусливый всё же взгляд будто жадно обгладывал прикоснуться ко мне, и тогда я ударил его в лицо. Силы мои были истощены, однако я мог его бить: во мне было достаточно ненависти, что кромсать кулаками голову Николая, скоро превратившуюся в окровавленные, свисающие иногда лоскутами спавшей кожи ошмётки: я попытался зачерпнуть в том хоть немного воздуха, и в момент этот, закричав, Николай выдернул из моего бедра нож и воткнул его мне в грудь. Нож прошёл чуть сквозь, оставшись у подмышки, и тогда я заломал его, задержав свисающей от меня цепью его ногу и опрокинув на спину. Выкатившийся из меня нож упал оземь, откуда в борьбе я достал его, начав рубить плечо Николая: крик его должен был остановить меня, да нечто заставляло продолжать это делать: нечто увидело во мне наконец форму: нечто... я резал плечо Николая, когда тот перекинул одну из гирь за мою ногу, задержав меня и поставив под собой: Николай вновь выхватил нож: глаза его были пусты и словно не видели меня: он придавил мне руки гантелями, ноги увязав цепями: он посмотрел на меня: он посмотрел на меня и, грустно улыбнувшись, начал вырезать мою грудь. Медленные шлепки отслаивающегося жира оставляли меня без голоса. Вырезав мою грудь, Николай встал надо мной, распорол горло, пытаясь влить свою кровь в меня, и упал на меня. Так я пролежал чуть менее суток. Сильно отдалённый от жилых районов ангар не позволил обличить свои ужасные стоны. Выбрался я, расталкивая тела и волоча тяжёлые гири до самого города. Там я умылся у реки и попросил помощи в случайно попавшемся на пути доме. Я попросил ножовку по металлу, однако испугавшийся полный мужчина, выглядевший совершенно дружелюбно, стал настаивать на вызове полиции и скорой помощи. Чуть проявляя внутреннее недовольство, я согласился, после чего, проникнув с его разрешения в дом, задушил мужчину дорожкой для обеденного стола.

На протяжении почти всего существования секты Тфальра Николай собирал за присутствие на лекциях довольно значительные суммы денег: началось это с дмитриевцев, причём на тот момент подобный ход Николай осуществил именно для того, чтобы возбудить в молодых спортсменах хулиганской наружности серьёзность к делу, после же всё происходило в рамках долгоиграющего сложного плана Николая. Сборы данные никогда не принадлежали Николаю: несмотря на свою недалёковидность, Николай испытывал к Тфальре нечто особенное, и особенное это устраивалось вокруг образа Сергея в его голове: он виделся ему святым, пророком и всем прочим, и в действительности же нет смысла говорить,

содержалась ли в нём истинная вера, ибо ничто из способного привести к подобному исходу не могло быть содеянным с Господом. Тфальра раскрывалась для него именно в Сергее, удобным образом оказавшимся вовремя, тогда, когда сам Николай нуждался в появлении извне подобной опоры, силы, которую он не брезговал самостоятельно возвести. Во все периоды бездельной голодной акедии Сергея Николай методично продолжал распространять учение Тфальры, уже совершенно осознанно скрывая то от главы образовавшейся секты: сектой Тфальру сделал именно Николай. Он распространял листовки через дмитриевцев, которым за то платил деньги, он проводил почти всё время вне занятий дома у потенциальных членов секты: бесчисленные часы он занимал совершенно случайных людей распространением учения, после уже более легко становящегося легендарным. Именно Николай обязывал членов Тфальры делиться с родственниками, друзьями и даже знакомыми разросшимся до состояния, когда сдавший Лидию и принявший тело ребёнка дом уже не мог вмещать прихожан, кружком. За присутствие на лекциях Николай брал деньги, и тем он сперва ограничивал присутствие на них: будь сектанты действительно подобны своим желаниям, те готовы были бы разорвать друг друга у коммунального дома, таким же образом удавалось сдерживать иногда излишне заинтересованных людей. Сергей был продуктивен, хотя более его интересовала, конечно, собственность: ему приятнее было знать, что работа его идёт гладко, слаженно и небездельно, хотя предметно о том сказать, вероятно, нельзя было: нескончаемые чтения и перечитывания богословских трудов едва шли впрок: Сергей многое забывал, часто отвлекался, после то оправдывая внезапно возникшей в нём молитвой, и попросту практиковал неосмысленное чтения, хотя того было довольно необразованным прихожанам и напыщенным религиоведам, интересующимся именно тем одним, что и мог рассказать Сергей, действительно верящий в проговариваемую постоянно глупость: думается, без такой честности не удалось бы внушить в совершенно незаинтересованных людей то семя сомнения, которое развивал Сергей также и частью своей чрезвычайно лакунарной, забавной своей детскостью программы, и то даже не учитывает потенциальную опасность таких идей: только Сергей со своей самовлюблённой недалёковидностью мог догадаться распространять идеи о пользе физического изнеможения, приличного и должного в его голове именно постольку, поскольку всё он якобы контролировал, хотя после, с появлением ангара, он уже произвольно закрывал глаза на всяческие странности с финансовыми манипуляциями. Николай скопил капитал: капитал, чрезвычайно удачно сложившийся с моментом якобы подвижнического заточения Сергея, был потрачен на довольно удачное приобретение ангара, прежде принадлежащего одному из депутатов, отошедшего от дел и лишившегося всего: крупный ангар с проблемной проводкой продан за совершенно незначительные деньги, ибо только так депутату удалось бы выручить хоть что-то. Подготовка ангара потребовала

большого человеческого ресурса: ни одной неделе не выходило у дмитриевцев без дела, Николай окончательно утвердился их негласным начальником. Отдельных рабочих удалось не привлекать извне: Николай поручил одним из крепких прихожан работы по подготовке и уборке ангара взамен бесплатному посещению занятий. Занятия эти Николай называл уроками, что также пропагандировал среди тфальристов. Чрезвычайно большую сумму денег, могущую быть потраченной на работу с внутренним убранством, Николай потратил на покупку гигантской ткани с печатью символа Тфальры, что, общем, и смущало довольное количество людей, пришедших впервые. На момент появления ангара резак, группа тфальристов, всё же имевшая сперва лидера, уже сформировалась: сначала практиковали только побивания дубинками, высекаемыми их изначальным лидером, и уже позже даже внутри этой группы появилась определённая ересь совершения надрезов на руке; тогда лидер постепенно терял значение в группе резак, а в момент, когда Сергей открыто раскритиковал подобные практики, вовсе вышел из объединения. С тех пор резак действовали ещё более радикально: часто там выдвигались новые главы, однако постоянного сильного лидера там не было вплоть до второго входа в группу Николая. Именно Николай, уже услышавший слова о том, что Сергей ненавидит его, решил рискнуть, сделав обязательным вырезание груди у женщин и мужчин: поначалу даже резак то показалось дикостью, однако отчаявшийся, пребывающий уже в самом крайнем душевном расстройстве Николай при всех оскотил себя, начав вырезать соски; тогда практика эта стала обязательной, и хуже всего было, что в круги этих сектантов случайно попадали дети, верившие родителям: несколько детей умерло сразу при обливании кипятком, которое видел Сергей. С момента появления практики вырезания груди Тфальра потеряла прочное основание в виде Николая, однако Сергей не понял и этого. Продолжая обыкновенные лекции, Сергей не видел накопившегося в кружке, каковым он до сих пор называл Тфальру, недовольства. Первым шагом к разрушению секты стали заканчивающиеся ресурсы дмитриевцев, отвыкших работать и неожиданно лишившихся всех денег Николая. Прежде совершенно тайные вещи начали проговариваться излишне громким и яростным словом дмитриевцев: так, об этом узнали обыкновенные тфальристы и, что оказалось катастрофическим, Дмитрий. Сами дмитриевцы были чрезвычайно сильно убеждены в правоте учения Сергея, однако Дмитрий стоял даже над Николаем в преданности его идеям. Только два человека, вероятно, выпадали из дел секты, и теми были её глава и сильнейший человек области. Дмитрий сперва лишь случайно слышал слова о каких-то делах прежде верных его учеников: отношения между ними стали разреженными, однако Дмитрия это не сильно волновало: он посвящал всё своё время молитве. Когда Дмитрий стал допытываться у тфальристов по поводу произошедшего, они вполне открыто озвучили, что теперь они будут собирать деньги за присутствие на уроках. Для Дмитрия это было страшной

новостью: всё внутри него так сложилось, что неудобно выраженные мысли обычных тфальристов сделали из бывших учеников желающих развалить кружок чертей. Сперва с относительно мирным настроением, Дмитрий пришёл к тфальристам, тогда оказавшимся в случайной столовой. Подобно тому, как Сергей обрёл власть, о которой не знал, дмитриевцы обрели в возбуждённом лице Дмитрия врага, безусловно желающего их смерти; дмитриевцы помнили, сколь силен Дмитрий, и потому напали на него первыми. Дмитрий был значительно сильнее: он походил даже на чудовище, и сильно преобладающее число дмитриевцев было раздавлено: порой буквально; Дмитрий уже не был в адекватном состоянии: аскетичные упражнения, голод, зверство злословия и власть решить дела учеников не смогли в нём объединиться в нечто цельное, и теперь Дмитрий уже не мог рассчитать силу или понять, что последует за его действиями. Дмитрий убил большую часть дмитриевцев, после чего те сбежали. Дмитрию казалось, что они побежали в сторону коммунального дома, и потому он быстро добрался до него, объявившись в комнате Сергея: убедившись в его безопасности, Дмитрий обрадовался и стал возбуждённо рассказывать, как его пытаются убить, дабы он не рассказал о выгодном им разрушении Тфальры. Тогда, обернувшись едко блестящему синему свету, Дмитрий увидел полицейских, за которыми стоял Николай. Оставшаяся часть дмитриевцев позвонила Николаю, и тот, надеясь ещё на дальнейшую слепоту полиции, решил сразу сковать Дмитрия. Дмитрия посадили, однако, чего более всего боялся Николай, полиция заинтересовалась Тфальрой. Впервые допущенные полным отсутствием Николая ошибки, кои прежде избегались бесчисленными хитростями и порой преступлениями, подвергли Тфальру разоблачению: именно Тфальру, но не эфемерный кружок, о котором говорилось в раздаваемых дмитриевцами листовках. Николай имел довольно большой план по мести Сергею, и план этот не подразумевал его убийства, однако в холерическом безумии Николай сложил ряд вещей, выгодных ему и исполняющих быстро часть прежде приготавливаемого плана, и тяжёлым насилием над умом резачков и оставшихся дмитриевцев подготовил их за день к очищающей смерти, которую они добровольно должны были принять на следующий день. Отравив Сергея наркотиком, наскоро выведенным из лекарств для кошек, которые были в доме, он вызвал частичную амнезию, потерю сознания и затуманенность ума, что помогли доставить его в ангар. Николай желал сломать Сергея: Николай хотел, чтобы он хоть чуть приблизился к тому чувству, что испытал сам, когда его кумир, его бог объявил о своей ненависти. Николай хотел, чтобы Сергей почувствовал вину за смерти детей, за уродство обугленных кипятком прихожан, он хотел, чтобы звуки стрельбы рвали в нём рассудок, чтобы увиденные ужасы, что должны были якобы провести для прихожан путь в Царствие Небесное, стали в нём его виной: ведь он думал, что всё было его заслугой, что Тфальра всецело принадлежала ему, что всё, что происходит в ней, порождается именно им. Самолюбие Сергея

было известно Николаю: он знал его пороки, однако именно знал, не веря в то. Когда расстреливали резачков, когда дмитриевцы должны были провести очищающий бой, в котором до последнего сомневались, Николай, сперва вполне рассудочно решив придать бою добавочную уверенность, обезумел, впад в ярость, снова услышав в голове слова Сергея, раздавшиеся громовым эхом, писклявым бесовским ужасом. Николай попытался убить Сергея, но любовь к нему стала выше сиюминутного гнева, язвенной обиды, и тогда, решив отдать свою жизнь Сергею, Николай вспорол над ним горло.

Всё обеспечил Николай. Подобно художнику, Сергей Роса наконец обрёл свой контур: в каком-то смысле только теперь он родился, в ходе ужасных неудач и случайностей, однако то положение, в котором ему пришлось оказаться, было для него неожиданно самым естественным. Могло показаться, будто он был не проклят по рождению, но рождён таковым. Сергей Роса, не имевший для себя матери и не желающий видеть отца, был изгнанным из утробы, и изгнан он был в мир, что будет потерян именно волей этой случайности, в сущности, только определившей неуверенное колебание Сергея. Постепенно на лице Росы начала вырисовываться неизменно лёгкая улыбка, что будет холодным мрамором держаться на нём всю его оставшуюся жизнь. После произошедшего Сергей выжил, хотя официально считался убитым в ходе внутренних разногласий секты, которую основал. Сергей Роса стал чудовищем: вся внешность его была теперь непостоянна, отражая совершенно окончательное решение внутренне: только так он смог избавиться от галлюцинаций, бреда, бессоницы, уныния и физической слабости. Так был рождён Сергей Роса, после сменивший личину, однако впервые по-настоящему ставший собой: пребываемые искры его плана содержали в себе медитативное спокойствие: медленно вправляющаяся в распространяемый вокруг холод улыбка не была напускной: теперь: только теперь Сергей не врал, не кривил душой и не прихлебательствовал: появившееся им зло было самым честным, самым откровенным, что, вероятно, можно было представить в человеке: так родился самый человечный из людей.